

ЛЯМАН БАГИРОВА

Н О В Е Л Л Ы

Май. Покой.

*Мои слова печально кротки.
Перебирает тишина
Всё те же медленные четки...
В.Ходасевич*

Когда шторм информации, обрушивающийся на несчастный человеческий мозг, грозит превратиться в цунами, когда беспокойство за день грядущий и усталость в дне нынешнем достигают пика, на помощь приходит тишина.

Это не злое, тревожное молчание, яростно вгрызающееся в душу и превращающее ее в ошметки. И не то, что сродни топкому смертному сну.

Это тишина сберегающая: копящая силы, мечты, впечатления и слова. Как рачительная хозяйка хранит семена редких цветов, чтобы по весне высадить их в землю. Не все взойдут; лишь самые крепкие и сильные, чтобы дать пышный и яркий цвет.

Слова – те же цветы. Мы бережем воспоминания, они сохраняют нам память, мы копили впечатления, они облекаются в слова. Но из древней сокровищницы слов мы выбираем самые сильные или самые нежные, что способны или пронзить человеческое сердце правдой, или зажечь его любовью, или утолить его нежностью.

У каждого своя тишина. Для меня до недавнего времени она была растворена в аллеях Монтинского парка – пожалуй, самого изысканного в Баку.

«До недавнего времени», потому что сейчас от тогдашнего парка мало что осталось. Да и осталось ли?.. Время преобразует не только людей, его кисть всевластна, но если в человеческих лицах под слоем лет и бед еще можно угадать светлые тени юности, то строения и сады уходят безвозвратно. На их месте возносятся новые постройки, и они тоже уступят место чему-нибудь в свой срок, в свой час. Время все же более милосердно, чем люди, – оно иногда позволяет юности сверкнуть в старческих глазах или прозвенеть молодой силой в дребезжащем голосе. Но люди неистовы в своей ретивости забыть прошлое, каким бы оно ни было.

Этот парк, названный в честь активного участника Бакинской стачки 1904 года и пламенного революционного борца за дело трудового народа Петра Васильевича Монтина, был полон задумчивой прелести и какой-то сдержанной и совсем не революционной грусти. От всего его облика веяло духом старинных дворянских усадеб – очаровательных и заброшенных. А может, в этой заброшенности и постепенном дичании и была их прелесть?..

Что привлекательного, например, могли таить в себе неширокие аллеи, выложенные плитами из песчаника? Эта местная горная порода непрочна, камень слоистый, быстро обламывающийся, но, кажется, только он может вспыхивать на изломе мимолетным кварцевым блеском. Словно заплутавшая звезда отразилась в камне, а теперь дарит миру свой свет.

А уж трещины и расселины в нем были открытием. Песчаник подобно малахиту раскрывался невиданными узорами: оранжевые, охряные, красноватые и коричневые слои плавно заступали на место друг друга. И казалось: ступаешь не по выщербленным обломанным плитам, а по дворцовому паркету с интарсией.

И разве не чудом были в нем островки зацветающей дождевой воды? Она скапливалась в крошечных желобах и трещинах плит, покрывалась тончайшей ряской и напоминала сильно уменьшенные копии старинных прудов и купален.

Все, все в этом парке вызывало нежность, от которой сжималось горло. И залитая солнцем центральная площадка, на которой в окружении пламенных гераней стоял гранитный бюст Петра Монтина. И широкие деревянные скамейки с затейливыми подлокотниками – каждая изображала печального льва с открытой пастью. Бедняга лев скорее выглядел голодным, чем свирепым. И кокетливые беседки-ротонды – когда-то они были снежно-белыми, но потом приобрели устойчивый горчичный цвет. И невысокая эстрада, с которой гражданам отдыхающим вещались лекции о вреде пьянства и табака. Заржавленный стенд с афишами лекций высился рядом с эстрадой как символ былого величия сталинской эпохи. Но земля, в которую он был намертво врыт, была рыжей от осыпавшейся ржавчины, а издалека казалась красной, как если бы на нее пролилась кровь.

И грохот проносащихся электричек, и вздрагивающий свет фонарей – железная дорога была поблизости. И неповторимый, единственный в мире запах железно-дорожного полотна – кисловатый запах железа, нагретой пыли, старого дерева, примятой травы и спирта: разбитые бутылки из-под водки и портвейна «777» валяются тут и там... И скрытый в глубине парка небольшой домик со странным названием «Комната смеха». Честно говоря, ничего смешного в нем не было, наоборот, огромные кривые косые зеркала и мое собственное отражение в них вызывали если не ужас, то какой-то трепет и глухое беспокойство, сродни нынешнему...

И скрипучая карусель – ее сиденья были разноцветными, и когда карусельщик, колченогий дядя Степа, словно священнодействуя, заводил мотор, казалось, что в воздухе раскрывается гигантский пестрый цветок и парит под смешную песню дяди Степы. Тот мог петь, вернее мурчать себе под нос ее бесконечно, и от пения этого становилось радостно:

*Я пьян от шторы в квадрате окна,
Откуда мне не раз улыбалась она,
От белых скал прибрежных, что в солнечный день
Ее укрывали в тень.¹*

И высокие деревья, так плотно увитые неведомой лианой, что под нею трудно было распознать само дерево: так густо оплетали его тонкие побеги с копьевидными листьями и маленькими усами-вьюнами – ими лиана цеплялась за ветки дерева. Усы эти были свернуты в тугие зеленые локоны и стоило их распрямить, как они тут же с легким шелестом, словно вздыхая, закручивались вновь.

В мае лиана представляла собой диковинное зрелище. Сверху донизу она была усыпана крупными зелеными бутонами, разворачивающимися как по команде. Вначале из узкой прорези бутона показывались бледно-зеленые, словно вырезанные из лунного камня длинные лепестки. Затем вокруг них появлялась фиолетовая бахрома. И наконец, из самого центра большого, величиной в женскую ладонь цветка вытягивались пять зеленых пестиков, похожих на молотки, и три крупные темные тычинки, похожие на гвозди. Цветок этот не имел запаха, но переливался на солнце мерцающим светом. Линии его были так точны и нежны, словно не природа, а мастер-искусник выточил его на волшебном станке.

– Цветок страстей господних, – очень тихо, почти про себя, говорила няня.

Это с нею каждый день мы гуляли в Монтинском парке. И она открыла передо мной его красоту и душу.

– Как это? – спрашивала я.

¹ Турецкая песня «Я пьян от любви» Здесь приведена в переводе на русский язык, но обычно она исполняется на языке оригинала.

Но няня поспешно называла уже другое имя этого цветка – «кавалерская звезда» и вообще переводила разговор на другое.

Это уже потом я узнала, почему страстоцвет, он же – кавалерская звезда, он же – цветок страстей господних, так называется. Что каждый из фрагментов этого цветка символизирует христовы муки: бледно-зеленый венчик – терновый венец, фиолетовая бахрома – обгаренные кровью иглы венца, молоткообразные пестики – молотки, которыми забивали гвозди в руки и ноги Христа, три тычинки – сами гвозди, а копьевидные листья растения – копья, которыми гнали Его на казнь. Конечно, легенда, но суровая и прекрасная, как большинство легенд.

Но тогда для меня это был всего лишь загадочный цветок, мерцающий лунным светом.

Отчего-то казалось, что места, дорогие моему сердцу, места, к которым болезненно и сладко приросла душа, должны меняться вместе со мной. Что всякий раз, по прошествии какого-то количества лет посещая это парк, я буду находить в нем что-то новое, и это новое будет радовать. Или же наоборот, меняться буду я, а он будет оставаться таким же, полным задумчивой прелести и грусти, словно аромат осенних роз – сдержанный и деликатный. «Скорее всего, так и будет, – думала я, – он останется неизменным, только постареет и обветшает, но тоже очень элегантно – усыхая, но не разваливаясь».

Но оказалось совсем не так. Парк менялся, и в нем появлялось много нового, но оно, увы, не столько радовало, сколько ошеломляло. И дело не в том, что был снесен памятник пламенному борцу за счастье трудового народа, что исчезли Зеленый театр, эстрада, Комната смеха, летний кино клуб и кокетливые беседки-ротонды, что, расчищая площадь, вырубали деревья, увитые лунным страстоцветом. В конце концов, глупо было ожидать от жизни неизменности и элегантного старения. Все меняется, так и должно быть, но далеко не все, что приходит на смену, столь же пленительно и прекрасно.

Но если... Боже, но если от бывшего очарования Монтинского парка осталась хоть одна маленькая щербатая плита из непрочного песчаника, то и ее я готова нежно прижать к сердцу. Ведь она помнит все, всему была свидетелем, и в мимолетном кварцевом блеске ее излома все еще горит заплутавшая звезда нашей памяти.

У каждого из нас есть такие Монтинские парки – островки благодарности и покоя. Должны быть. Именно им – маленьким целителям – дан великий дар: возрождать человеческую душу.

Июнь. Жара. Кот.

Я – счастливый человек. Жизнь баловала меня впечатлениями, а природа одарила памятью и способностью анализировать. Корзинку щедрых даров довершила фантазия. Она услужливо приходила на помощь, когда впечатления оскудевали и память о них блекла. Фантазия, засучив рукава, принималась за дело, раздувала костры воображения, и жизнь снова становилась яркой, запоминающейся, а значит, счастливой.

*Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран.
И жизнь опять предстанет странной,
Закутанной в цветной туман.¹*

Как же правы те, кто называет поэтов пророками. Их мысль молнией пронзает вечность и видит то, что обыкновенный ум постигает годами.

¹ 1.А.Блок «Ты помнишь: в нашей бухте сонной...»

И когда пространство жизни отчаянно сужается до размеров карманного ножа (или ее искусственно пытаются сузить), то я так же отчаянно пытаюсь разглядеть на нем пылинки странствий. Не важно, дальних ли стран, или океана воображения и памяти. Путешествия от этого не станут менее яркими. Если при этом они принесут радость или научат чему-нибудь – это ли не счастье? Как оказывается прост его рецепт – яркость, радость, наука!

... Этот душный день складывался донельзя мерзко. Все вокруг будто сговорилось портить настроение, причем портило его со знанием дела, медленно и с наслаждением. С самого утра солнце обрушило на землю не только палящие лучи, но и отвратительную, доводящую до бешенства липкую одурь. В небе после краткой ночной прохлады словно зажгли гигантскую лампу и направили ее на землю так, как светят в лицо преступникам на допросе.

Через полчаса этого белого мертвящего света человек начинал ненавидеть все на свете: себя, окружающих, одежду, еду, пыльные деревья за окном, собак и кошек, в изнеможении развалившихся на тротуарах, работу, на которую надо было ходить, дом, куда надо было возвращаться. Умиralи все желания, кроме трех: стоять под душем, под кондиционером и залезть в морозилку холодильника. Последнее было неосуществимо, поэтому о нем приходилось лишь тосковать. Но невыносимее всего была липкая испарина. Стояние под душем и кондиционером давало призрачный эффект – через пять минут все вновь становилось гадким и липким.

Жара погружала город в сонную одурь. Ленивыми становились движения, звуки, цвета, даже запахи. Какой-нибудь дом мог соединять в себе целую симфонию запахов. Так из одного окна доносился аромат горячего вишневого варенья – запах сладкий, душный, из окна напротив – запах борща и печеных баклажанов, они смешивались с запахом свежевывстиранного белья, – и плыл над землей раскаленный обморочный воздух.

Он разрушал сознание. Иначе как можно было объяснить совершенно сумасшедшую идею отправиться в перерыв в 12.30 бесцельно бродить по парку.

Он был весь залит солнцем. Гулять в это время было подвигом или безумием. Но скорее – отчаянием и дерзким желанием доказать, что клин клином вышибают! Наяриваешь, светило? А мы тебя не боимся, специально вышли на пекло. Лей свои лучи! Посмотрим, чья возьмет! На выгоревший газон и скрученные от жары листья было больно смотреть. С тутовых деревьев глухо шмякались перезревшие ягоды и оставляли после себя черный и липкий след. Скамейки и аллеи были пусты – везде царило солнце. Фонтаны отчего-то не работали, видно, городские службы решили в это пекло побереечь воду.

Я кружила по парку почти автоматически. Состояние было странное, близкое к эйфории: глаза слепило, а стоило их прикрыть, как сразу же перед внутренним взором начинали бешено вертеться оранжевые круги. Словно налитые свинцом руки и ноги внезапно обретали удивительную легкость. Казалось, еще мгновение, и я оторвусь от земли и растворюсь в густом синем мареве.

Краем обмирающего сознания я скорее не увидела, а угадала темное пятно.

Так и есть: на белом от солнца асфальте сидел большой серый кот. В спутанной шерсти его застряли сухие травинки и кусочки засохшей грязи, отчего он казался бурым. Глаза его слезились, язык высунут, а морда выражала такую мольбу, что первым моим желанием было отнести его хотя бы под скамейку – там была крошечная тень.

Но кот не шевелился, и поза его была странной и, видимо, очень неудобной. Он сидел не как обычно сидят кошки – кувшинчиком, а на хвосте, неловко завалившись на бок и опираясь правой передней лапой об асфальт. Издалека присмотреться – не кот, а крошечный, очень волосатый человек сидит, подавшись вперед, и опирается рукой о сиденье.

Кот поднял морду, чуть сдвинул опорную лапу, и вдруг я увидела у него под боком маленького черного голубя. У птицы было перебито крыло, она распласталась на асфальте, склонив голову и высоко подняв здоровое плечо. Изуродованное крыло лежало веером, голубь не мог не только пошевелить им, но даже сдвинуться с места. Так и сидел на пекле, медленно умирая. Кот примостился рядом, чтобы защитить его от солнца. Облегчение пришло от того, кто, казалось, вовсе не был на это способен. От врага, ставшего в одночасье собратом по несчастью. От врага, не поднявшего лапу на слабого. В грязном мохнатом тельце сострадания оказалось больше, чем во многих наделенных разумом и преисполненных величия существах.

Я сидела на корточках в пустынном, палимом солнцем парке перед этой странной парочкой, и у меня не было сил признаться самой себе, что я восхищаюсь ею. Маленьким подвигом добра и милосердия, ненавязчивым и кротким уроком нравственности, который эти двое, сами того не ведая, преподали мне. Пусть бессознательно, но какое это имеет значение? Поистине, *«великое безумье доброты – единственный спасающий нас разум»*¹.

Перерыв подходил к концу. Я вспомнила, что неподалеку есть зоомагазин, и поехала туда. По счастью, ветеринарный врач – сонная, тучная, добродушная женщина была на месте и на мой сбивчивый рассказ отреагировала на удивление быстро.

– Сюда! Тащите сюда своих героев! – скомандовала она, и мы с одной из продавщиц снова побежали в парк. Герои были на месте. Кажется, они решили так и застыть здесь, явив миру символ молчаливой стойкости: испепеляемся, но не сдаемся!

Мы осторожно переместили их в переноски. Кот вздрогнул, глубоко вздохнул, затрясся всем телом и тихонько застонал, будто заплакал.

– Ничего, ничего, – улыбнулась девушка. – Это он лапу отсидел и вообще затек, а мы его сдвинули, и у него по всему телу иголки пошли, вот и трясется. Сейчас пройдет. Не плачь, маленький!

«Маленький», больше похожий на миниатюрного медвежонка, размазывал по морде кровавистые слезы и качал головой, словно китайский божок. Потом учуял воду в углу переноски, недоверчиво понюхал ее и принялся жадно лакать. Пил он долго, изредка приподымая голову и всхлипывая.

Голубь был неподвижен. Мы приподняли его и увидели, что дела плохи – крыло нагноилось и между тонкими остевыми перьями уже виднелись черви. Голова птицы все так же свешивалась набок, а в полуоткрытом, затянутом пленкой черном глазу читалось равнодушное: *«оставьте меня в покое»*.

– Он умрет? – спросила я и замерла в ожидании дурного ответа. Неужели старания кота были напрасны, и птичья жизнь оборвется?

– Нет, – успокоила девушка. – Скорее всего, крыло придется ампутировать, видите, гангрена начинается, а так – молодая птица, будет жить.

– Идемте скорей, – выдохнула я, и мы защелкнули дверки переносок.

Ветврач уже ждала нас с инвентарем наготове. Пациентов у нее, видимо, было немного, и она с охотой демонстрировала свои знания.

– Какой грязный! – благодушно протянула она, склонившись над котом. – Ничего, это мы сейчас поправим. Искупаем, подстрижем, глазки подлечим, покормим, будет как новенький. Уличным животным услуги бесплатны, – хохотнула она и украдкой взглянула в зеркало на стене – хороша ли? Да, была хороша: улыбчива, доброжелательна.

«А потом опять на улицу, – тоскливо подумала я. – «Подлечим, покормим» и вали! Эх, жизнь...»

– И постараемся пристроить в добрые руки – ворковала она. – Ай, не кусайся, не стыдно тебе?

¹ Строчка из стихотворения Е.Евтушенко, посвященного Герою Социалистического труда Хураман Аббасовой.

Кот устало смотрел на нее, и на морде его читалось: «Прости, пожалуйста, я чувствую – ты хорошая, но так полагается. Мне же надо показать, что я – кот!» Потом он прикрыл глаза и блаженно вытянул лапы. В ветеринарной было прохладно – работал кондиционер.

– Как хорошо, что пристроите. Точно? – обрадовалась я.

Продавщица вместо ответа протянула руку в угол комнаты. Там в огромном «кошачьем» доме с бархатными подушками, лежанками и «гнездами» резвились три котенка.

– Было семеро. Уличные, – гордо сказала девушка. – Четверых пристроили в хорошие руки. Эти на очереди. Не беспокойтесь вы. Такого героического кота не пристроить по высшему разряду – грех!

Врач тем временем перешла к переноске с голубем и помрачнела.

– Ампутация срочно. Крыло, сустав, да и одна лапка тоже. Чувствуете запах? Гангрена уже вовсю. Бедняга, видимо, несколько дней мучился.

«А ведь каждый день мимо него шли люди, играли дети, – подумала я. – Да и сама сколько раз проходила. Отчего же не видела? Не замечала, торопилась, не обращала внимания?»

– Но жить будет. Молоденький, сердце здоровое, выкарабкается. Только его здесь оставим. Инвалидов голубиная стая не приветствует. Да и не сможет он уже на воле.

Я потянулась к кошельку.

– Нет, уличным услуги бесплатны, – улыбнулась докторша. – Но, если вы так хотите, можете пожертвовать сколько-нибудь в пользу бездомных животных или этим купить какой-нибудь еды подороже. Побаловать, так сказать. А насчет остального не беспокойтесь, живы-здоровы останутся ваши герои. Вы что-то еще хотели?..

Перерыв мой давно и безнадежно окончился. Но, Бог с ним, один раз не грех и опоздать. Еду я, конечно, купила. И в пользу бездомных животных пожертвовала тоже. А, вот чего хотела?.. Чего я хотела? Да, только одного, чтобы милосердие, деликатность и кротость стучались в человеческие сердца чаще, чтобы уроки нравственности были легки и ненавязчивы, а подвиги тихи, великодушны и естественны. И что для свершения их вовсе не обязательно бряцать словами и оружием, а всего лишь протянуть руку или лапу помощи. И никогда не пожалеть об этом...

P.S. Финал этой истории оказался счастливым. Кот, названный Героем Медведевым (получил имя и фамилию в паспорте!), поправился, приосанился и обрел дом с любящими хозяевами. Голубь, вернее голубка, перенесла операцию хорошо, была названа Сироткой и осталась жить в зоомагазине. У нее персональная большая клетка со всеми удобствами. Сиротка встречает посетителей громким курлыканием и в очередной раз с удовольствием слушает историю своего спасения. Ее продавцы и врач рассказывают без исключения всем посетителям!

Июль. Алые ангелы.

*В июле я видал роскошный отблеск рая:
Сжигал себя закат безумием цветным
И, радугой сплошной полнеба обнимая,
Сливался в алый луч над лесом голубым.
В.Набоков*

На раскаленной от июльского солнца крыше сидели два ангела в красных хитонах и обмахивались крыльями. Пот градом струился по их распаренным лицам, будто ангелы только что вышли из парной и завернулись в красные полотенца.

Солнце золотило крышу и ткань хитонов. Со стороны могло показаться, что на крыше разгораются маленькие костры.

Младший ангел плакал и размазывал слезы по круглому детскому лицу.

– Не могу я так бо-о-ольше! – гундосил он, всхлипывая. – День-деньской мотаешься по жаре, как проклятый...

– Тс-с-с-с! – предостерегающе цыкнул старший ангел и огляделся по сторонам: не слышит ли кто? Но в ярком, до рези в глазах небе не было ни облачка, значит, вся остальная ангельская братия разлетелась по делам.

– Не могу! Сил больше нет, – продолжал заливаться младший. – Целый день – туда-сюда, солнце голову продырявило, даже крылья не слушаются, пересохла от жары, во рту – пустыня Сахара!

Старший ангел одобрительно кивнул.

– Ты и про пустыню Сахару знаешь? Молодец!

– Э, дядюшка...И так тошно, а вы шутите!

– Да не шучу я, дурашка, а тебя хвалю. Мало кто из нынешних ангелов географию знает. Да и другие науки тоже!

– При чем тут география?! – взвизгнул младший и стал обмахиваться еще и полами хитона. Делал он это резко и с раздражением, всем видом показывая, что обижен на старшего.

– Ноги подними-ка повыше, – деловито заметил тот. – Смотри, как у тебя вены от жары вздулись, а ты еще ноги вниз свесил. Проблем с венами хочешь?

Младший уставился на свои ноги, нехотя подобрал их под себя и снова завыл:

– Что ни делаю, ему не нравится! Позавчера загонялся так, что уже не ноги, а язык набок свесил. Прилетел ни жив ни мертв, во рту маковой росинки с утра не было, а он мне: «Вы нерасторопны, быстрее надо!» И целую лекцию прочел, что, мол, пока ты так медленно поспешаешь, кто-то твоих добрых дел может и не дожидаться. Что, видите ли, ангелы должны летать быстрее молнии. И еще прибавил что-то по латыни, я не понял, что-то фис, фес...

– Наверно, *festina lente* – поспешай медленно, – рассудительно заметил старший. – Это он про тебя так сказал.

– Видите ли, ангелы должны летать быстрее молнии! Сам бы попробовал! Сидит целыми днями на мягком облачке, нежится в прохладе, звездный нектар пивает и еще недоволен!

– Так на то он и Начальник. Ему же надо что-то сказать для острастки, – ответил старший, рассматривая свои сандалии. – Смотри, пряжка лопнула, ремешок поистерся. Заменить бы, ах-ха-ха, – последние слова утонули в зевке.

– Дядюшка, не спите! На солнце спать вредно, – толкнул его младший.

– А, нет, ничего, не сплю, не сплю, – затараторил тот. – Да не бери ты в голову! Ну, начальник всегда пожурить должен, ему без этого нельзя! А твое дело верное, не бойся. Работу выполняешь, не пререкаешься ни с кем. В нашем ангельском чине покладистость – первое дело. Да и я заступлюсь за тебя в случае чего. Сам не бунтуй; кротость для отрока – украшение.

– Эх, дядюшка, и вы поучать решили! – младший ангел с досадой махнул крылом.

Старший усмехнулся в усы.

– Спит! – он задрал голову вверх.

Ангелам можно смотреть на солнце безбоязненно, поэтому он на несколько минут застыл, глядя на белый солнечный диск, повисший в небе. Если бы ангел был домохозяйкой, он сравнил бы солнце со сверкающей алюминиевой сковородкой, висящей на ярко-голубой кухонной стене. Но он был всего лишь пожилым и уставшим июльским ангелом, которому до наступления темноты надо было еще переделать уйму дел.

Младший продолжал всхлипывать, но уже как-то обреченно. Старший встревожился. По опыту он знал, что громкие и яростные вопли лучше вот таких бесслезных всхлипов. Он покосился на младшего. Так и есть! Совсем приуныл!

Старший принялся обдывать младшего своим хитоном. Солнце встало у них над головой, и казалось, что две большие алые птицы взмахивают крыльями и о чем-то ведут разговор.

– Ты думаешь, мне всегда легко было? Смолоду гоняли так, что мало не покажется! Как поступил я в ангелы, так сразу определили меня в летнюю группу. Да еще в июльскую. В самую макушку лета! Повели в примерочную, выдали алым хитон; у июльских ангелов – алые.

– А у других? – заинтересованно спросил младший и перестал всхлипывать.

– У всех месяцев свои ангелы, – посуровел старший, – и у каждого – свои хитоны. Вот у августовских, после нас, хитоны синие, потому как август – месяц самой звонкой жары.

– Как это? – не понял младший.

– А так! Ты вот разнюнился: жарко, плохо ему, видите ли, устал, а июль против августа порой слабее будет! Это сейчас только воздух раскален докрасна, но в земле еще есть прохлада. А вот в августе, когда все раскалится, то воздух над землей – синий и дрожит от жара. И тишина такая звонкая, только слышно, как семена цветов с сухим треском выстреливают и рассыпаются. Потому и марево синее над землей, все умолкает, ни одна птица голоса не подает. Это сейчас еще воробы чикают, а в августе – мара и тишь.

– Мара? – озадачился младший. Слезы его высохли, и только на круглых щеках пролегли две трогательные белесые полоски. Слезы солонны даже у ангелов!

– Мара – это марево одуряющее, как призрак, – наставительно заметил старший. – Душит тебя, а ты и рад ему покориться, словно всего тебя околдовали. Так что радуйся, что в июльские ангелы попал; августовским тяжелее. А зимним какво? То бомжа из сугроба вытащи, чтобы не замерз, то бабульку до дому доведи, чтобы не поскользнулась, и позаботься о том, чтобы у нее в шкафу хоть что-нибудь съестное было. Да еще сделай так, как будто это съестное она сама нашла, а не ты ей подложил. Легко, думаешь?!

– Загоня-я-яли-и-и!!! – младший ангел приготовился завывать по новому кругу! – Ног под собой не чую, крылья чугунные, того и гляди отвалятся, язык набок уже! То этого утешь, то другого успокой, то идиотов пьяных из моря доставай, чтобы не утонули, то около беременной стой, чтобы не родила от жары раньше срока. И главное, хоть бы кто спасибо сказал! Все, как очухаются, только и говорят: «От жары красное пятно померещилось». А это не пятно, это я стоял, ноги от усталости уже алыми стали, как хитон! А они – «пятно»!

– Да будет тебе, – примирительно сказал старший. – Ты у нас кто? Ангел? Так и выполняй свою работу. Такая уж у нас служба. И не ругайся! «Пьяные идиоты...» Где ты слов таких нахватался?! Вымыть бы тебе рот с мылом, да жарко, лень.

– Простите, дядюшка, – буркнул младший.

– То-то же! Ладно, вот что расскажу.

Солнце чуть-чуть спряталось за маленькое кремовое облако, решив подслушать разговор с комфортом – в полутени и на мягком сиденье.

– Вот ты говоришь: никто не ценит. И вся твоя работа без отдачи. Нет, дурашка, есть отдача, только не всегда такая, какой тебе хочется.

Слушай! Это я еще молодой был, примерно твоих лет или чуть старше. Мы ведь ангелы – бессмертны, только старимся так же, как люди. И ты не всегда таким пухощеки будешь, не бойся!

Лечу я по делам. Пекло страшное, хитон мой развеивается и просвечивает насквозь, хорошо, хоть с земли не видно! Лечу и сам себя лягушкой-путешественницей

чувствую, которая все приговаривала: «Лечу это, лечу». Но в отличие от нее я был злой, как сто чертей!

При этих словах старший понизил голос и оглянулся.

– Дядюшка-а! – всплеснул крыльями младший.

– Ну, да, знаю-знаю, что нельзя ругаться. Но бывают такие моменты, когда и Бог закроет глаза и уши на ругань. Редко, но бывают. Но ты этому не учишь, юн еще!

Не заладился у меня день с самого начала. Солнце наяривало так, что глаза закипали. И все, как ты говоришь: то одного утешь, то другого успокой, то с беременной рядом постой, чтобы не родила раньше времени, то пьяных из моря доставай, то у водителя автобуса всю дорогу виси над головой, чтобы его от солнца не разморило, и он в аварию бы не угодил. А благодарности, сам понимаешь, никакой. И все тоже, как один – «красное пятно от жары померещилось». Как мне обидно было за это красное пятно, слов не подберу...

А жара усиливается. И дорога такая сухая, ровная, как степь, рыжая от выжженной травы. У меня самого перед глазами рыжие круги заплясали. Понимаю, что не выдержу долго, надо отдохнуть немного. Куда там! Ни деревца на земле, ни облачка в небе. Наконец, заметил чуть правее от себя маленький дом с белой крышей и крохотным карнизом с желобом. Такие часто встречаются в старых деревенских домах. Вот на этом карнизе я и примостился. От стены дома была небольшая тень, и можно было спустить ноги в желоб, он был выкрашен голубой краской и от этого казался прохладным. Жаль, что воды вокруг не было ни капли. Только я прикрыл глаза, чтобы немного отдохнуть, как услышал тихие голоса. Женский и детский. Девочка хныкала, что ей жарко, а мать ее успокаивала, что надо немного подождать и скоро наступит вечер. И голос у нее был такой мягкий и спокойный, словно баюкал прохладой.

Опустился я чуть ниже и заглянул в окно. Вижу: маленькая комнатка с железной старой кроватью, круглый стол, и на столе почему-то разрезанная луковица на блюде. Девчушка лет пяти, встрепанная, кудрявая. И одно ухо у нее почему-то перевязано платком. Видно, болело. И мать рядом, тоненькая, в синем платье в горошек, волосы на затылке подколоты, а лицо такое нежное и уставшее. И столько в нем любви и заботы было, что у меня дыхание перехватило.

Она обдувала дочку листом бумаги, а девочка теребила ее за платье и спрашивала:

– Мама, а где мой ангел-хранитель? Ты говорила, что он у всех есть? А где наш? Пусть он сделает, чтобы не было жарко. И чтобы у меня ухо не болело.

– Дочушка, подожди немного. Все сделает. Только ему тоже отдохнуть надо. Он целый день летает, ему тоже жарко. Вот отдохнет, наберется сил и все сделает. А ухо болеть не будет, только лекарство надо капать и есть вовремя. А теперь поспи немного, чтобы лекарство помогло. Проснешься, а ухо уже не болит.

– И жарко не будет?

– Не будет. Спи. А я тебя покачаю.

– И сказку!

– Хорошо. Слушай.

И вот этот разговор я, затаив дыхание, слушал. В первый раз кто-то меня пожалел. Все только и ждали от меня чего-то, надеялись, сердились, если я опаздывал с помощью. А тут – женщина, которой помощь, может, больше всего нужна, обо мне подумала. И только я об этом подумал, как стало легко, и захотелось сделать что-нибудь хорошее. От души, а не по долгу.

И только я успел об этом подумать, как на землю легла первая лиловая тень, а это значит, что скоро вечер. И наступит желанная прохлада. Когда же небо стало совсем лиловым, и все вокруг на его фоне казалось нарисованным черной тушью, я понял, что солнце уснуло, и земля наконец-то отдохнет от него до утра.

Мой алый хитон в сумерках казался совсем черным, и я смелее заглянул в окно дома. Все равно им меня не увидят, а если и увидят (сердце ведь зорко!), то примут за тень большой птицы. Девочка сидела на коленях матери, прижавшись к ней большим ухом, а мать тихонько покачивала ее и рассказывала сказку. Я много слышал сказок на своем веку и много, наверно, еще услышу – люди постоянно рассказывают нам сказки, но такой не слышал никогда, потому запомнил слово в слово:

«Жили были на свете две сестры, старшая и младшая. Они были очень не похожи друг на друга. Старшая сестричка была очень веселая, улыбочивая, быстрая, подвижная, любила солнечный свет, яркие цветы, слушала пение птиц, любовалась бабочками в садах и лугах.

А младшая ее сестра была очень красивая и нежная. Но очень задумчивая, тихая, молчаливая и медлительная.

Девочки всегда выходили гулять вместе. И вот что интересно: старшая сестра всегда бежала впереди, прыгала, бегала, веселилась, собирала самые красивые цветы в букеты. А младшая сестра медленно шла за ней следом, но всегда догоняла. И старшая удивлялась: как это у нее получается – вечно плетется сзади, но всегда догоняет?

И вот однажды собрались сестры выйти на прогулку. И вдруг младшая сестра сказала: «Можно я сегодня с тобой не пойду? Мне спать хочется. Я не выспалась».

Старшая сестра удивилась и подумала: «Как это так? Мы же всегда вместе гуляем». А потом решила: ну, и хорошо! Никто мне не будет мешать бегать, прыгать и веселиться вволю.

И вот младшая сестра осталась дома спать, а старшая побежала в чудесный сад, полный прекрасных цветов. Несколько часов она веселилась в этом саду, собирала букеты, слушала пение птиц. А младшая все это время спала дома.

К вечеру прибежала старшая сестра, подарила маме и бабушке цветы и говорит:

– Мама, а сестра весь день проспала, не побегала со мной, не попрыгала.

А мама улыбнулась и сказала:

– Ну, и хорошо. Ей хотелось спать, и она выспалась, и тебе было хорошо, потому что ты веселилась вволю. И каждой из вас было хорошо по отдельности.

– Как так? – спросила старшая сестричка. – Почему?

– Потому, – ответила мама, – что тебя зовут Радость, а твою младшую сестричку – Печаль. Вы всегда в жизни будете рядом, потому что вы родные сестры. Но если вдруг она захочет поспать – не буди ее. Пусть Печаль больше спит, а ты бегай и прыгай и радуйся от души. И пусть каждой из вас будет хорошо.

Вот, доченька, я тебе желаю, чтобы Печаль в твоей жизни больше бы спала и отдыхала, а Радость всегда бежала впереди, радовала бы тебя и веселила. Чтобы Радости в твоей жизни всегда было больше!»

Под сказку девочка уснула. Мать положила ее на кровать, сняла повязку с уха – оно было немного распухшее, и осторожно влила в него теплое лекарство. Девочка вздохнула, почмокала губами, но продолжала спать. Я знал, что завтра ухо у нее перестанет болеть, и знал, что завтра будет чуть прохладней, и даже пройдет небольшой дождь. И что мать и дочь этому очень обрадуются. И, конечно, знал, что буду помогать им всегда.

Но мне хотелось подарить им еще немного радости. И решил на отчаянный поступок. Что смеешься? Думаешь, не способны ангелы на безумства? Еще как способны! Оторвал я кусок ткани от своего хитона, а ты знаешь, что он часть нашей силы вбирает в себя.

Бессмертия, конечно, подарить им не мог, но коснулся этой тканью до лица женщины, чтобы не меркла никогда ее нежная красота, а становилась только тоньше и благороднее. И до лица девочки, чтобы не болела никогда.

Потом, уже у наших, пришлось, конечно, выдумывать, мол, за дерево зацепился, когда летел, потому и порвал одежду. Главный ругал меня на чем свет стоит, потому как не берегу казенное имущество! Оно ведь нам один раз выдается и не старится в отличие от нас. Только я за всю свою жизнь ни разу не пожалел о своем поступке. А ты говоришь – отдачи от работы нет. Есть, дурашка! Есть! Только она, как радость-птица: по заказу не поет и прилетает, когда ей вздумается. Но если поселится в твоём сердце, то это дорогого стоит. И каторжная ангельская наша работа отдыхом и счастьем покажется. Так-то вот. Ладно, вставай, сумерки уже. Отдохнули, пора и честь знать. Полетели в ночную смену! Вперед!

На лиловом вечернем небом отчетливо вырисовывались черные контуры деревьев, крыш, столбов. Краски были мягкие, кроткие, словно ночь все прощала яростному дню. Ангелы летели, и звезды, словно маленькие голубые факелы, освещали им дорогу. Июльские ночи коротки, а дел у ангелов невпроворот. Нужно, чтобы дорога была светлой.

Однажды

Сказка

Если взглянуть на наш городок со стороны птичьего полета, он напоминает лоскутное одеяло – красные, синие, оранжевые, зеленые, желтые и даже бирюзовые крыши образуют причудливый узор. И можно подумать, что какой-то небесный великан придирчиво оглядывает свою огромную постель перед тем, как улечься спать. И уж, конечно, одеяло у него должно быть самое красивое – разноцветное, шелковое. Именно таким, шелковистым блеском отсвечивают в сумерках влажные от весенней мороси крыши.

А если как-то изловчиться и посмотреть на наш город сбоку, то он напоминает праздничный торт с разноцветными коржами с зеленым кремом. И все потому, что стены домов выкрашены разноцветной известкой, а проемы кладки покрыты плющом. Плющ разрастается буйно, его постоянно подрезают, выкорчевывают, но он неистребим и вечен, как жизнь.

Красивее всего наш город вечером, когда закат бросает последние багровые лучи на крыши и уступает дорогу звездам. В темно-синем небе их серебряный свет кажется волшебным. Город из карнавалльно-нарядного сразу становится утонченным, мерцающим и словно парит в воздухе.

Весна у нас в городе начинается по-разному. В этом году запоздала. Холодно. Чувствуешь себя не в весне, а в поздней осени: завывает пещерный ветер, дождь стучит в окна, кричат мокрые вороны. В такие часы хочется завернуться в плед, взять кружку свежесваренного чая и читать старую книгу. Непременно старую, с пожелтевшими страницами, с неповторимым ароматом времени – оно пахнет увядшими розами, сухим деревом и печалью. Так пахнут руки очень старых, но чистоплотных и опрятных людей – легким древесным ароматом.

И иногда – если очень повезет, если бедный наш мозг не будет окончательно задавлен потоком информации, непрерывно льющейся отовсюду, если усталость и страх за будущее не лишат нас возможности свободно и вдохновенно мыслить, если воображение будет рисовать не тревожные, а радостные картины, то, может быть, через толщу памяти пробьются милые и дорогие воспоминания. Так сквозь окаменевший слежавшийся грунт пробивается вьюнок – самый нежный и цепкий цветок на земле.

Тогда та неведомая птица, с высоты полета которой мы обзревала город, замедлит взмах своих крыльев и плавно опустится на ветку ближайшего дерева. И, чуть отдохнув, заведет свою песню. Она будет очень стараться, извлекая из маленького

певучего горла немислимые рулады. И бесхитростные мелодичные звуки сложатся песней во славу того, что дорого и памятно сердцу...

На улице..., назовем ее, скажем, Личковской, жили два товарища-старика. Вернее, товарищами их сделала жизнь: балкон одного был расположен напротив другого, но разделял их огромный платан, такой раскидистый и пышный, что за его кроной невозможно было увидеть друг друга.

Поэтому старики, как только выпадала возможность, выходили из своих домов и коротали время на скамейке перед подъездом. Бабки-соседки, ревностно охранявшие этот вечный атрибут «бабуляшистого» статуса, вначале пытались отвоевать его, но затем плюнули и смирились. Они облюбовали себе скамейку перед подъездом соседнего дома и лишь зыркали глазами на нахальных захватчиков.

Старикам до этого было мало дела. Чужие бабки их не интересовали. Оба вдовели уже давно и переносили свое вдовство не только с мужеством, но и с некоторой тайной отрадой. Со временем заглушилась боль потери, и они с удивлением обнаружили, что за постоянным пилёжем супруг не была заметна радость самых простых вещей: прозрачная тишина утра, ни с чем не сравнимый вкус свежего чая и даже стук переставляемых шахматных фигур, особенно гулкий в вечеряющем воздухе. Долгая супружеская жизнь была наполнена бесконечной беготней и суетой, вечным соревнованием жизни. Вдовство наполнило их душу печалью, сузило пространство собственной жизни, но научило дорожить тем, что еще оставалось в ней.

Внешне они были очень разными. Один – крупный и худощавый с пронзительными черными глазами и таким крючковатым носом, что казалось – еще немного, и им можно будет ловить рыбу в запавшем рту. Великан с черными глазами... Другой – неприметный, щуплый, бледный, с маленькими руками и ногами – ни дать ни взять постаревший эльф из мультфильма о Дюймовочке.

Похожи старики были только кепками – одинаковыми, темно-коричневыми с пуговицей посередине и куртками – тоже темно-коричневыми. Издалека их можно было принять за двух нахохлившихся птиц на темно-коричневой скамейке. Да и сидели большей частью молча, сосредоточенно думая о чем-то своем, и лишь изредка нарушали молчание.

– Сосед, – обычно обращался первым Великан. – Дети-то навещают?

– Да, – бесцветным голосом отвечал Эльф.

– Это хорошо, – одобрительно сипел Великан.

– А ваши? – примерно через минуту так же ровно вопрошал Эльф.

– Да.

И так примерно строился их разговор. Они словно выплывали из зыбкой полуяви-полусна и снова уходили в свои думы.

Соседняя «бабуляшистая» скамейка кипела бурей и гневом, наблюдая этот почти беззвучный диалог. Но яростное кипение бабулек долетало до стариков в форме сдержанного шипения.

– Нет, ты посмотри на этих чудиков! Скамейку у нас отобрали и сидят, как...бабки! Молчат!

Товарищи реагировали на это с высоты царского величия – не замечая...

Только один раз, когда градус шипения достиг немислимого накала, Эльф первым нарушил молчание:

– Сосед, я все спрсить хочу: у вас ссоры с женой были?

– Всякое бывало, – горделиво и как-то даже радостно воскликнул Великан. – И ссоры, и все! Бывало так, что в пух и прах раздирались!

– А как мирились? – безэмоционально продолжал Эльф.

Вообще, он был бы идеальной иллюстрацией к пособию «Как стать разведчиком?», если бы подобное существовало. Что бы ни случилось, Эльф не терял самообладания и флегматичности.

– По молодости понятно, как, – дребезжал коротким хохотком Великан. – А потом уже и не помню. Да и не ссорились особо уже. А что?

– Так, ничего, – едва поводит плечами Эльф и опять умолкал.

– А вы? У вас как? – Великан просительно взглядывал в непроницаемое лицо.

– Был один случай, – неторопливо, но, видно, ожидая этого вопроса и приготовившись к нему, начинал Эльф. И вид у него при этом был, как у былинного гусляра, заводившего свой сказ. Былинность позы была явно для бабок на соседней скамейке, мол, что нам, мудрецам, на каких-то пигмеев взирать?!

– Жили мы тогда с женой и детьми не здесь, а на другом конце города. И был у нас перед домом крохотный огород, так, одно название, но зелень для стола, черную смородину и морковь мы в нем растили. А смородина вдоль забора кустилась, там было больше света и влаги. Черная вообще неприхотливая, и в сезон ягоды на ней, как игрушки елочные, висели – глянцевые, крупные, тугие. И на варенье, и на соки, и на джем хватало. А зимой пирог с черной смородиной... ах!

Эльф потянулся и причмокнул. В его голосе появились теплые нотки. Через секунду он так же ровно продолжал:

– И вот заметила как-то жена, что смородины все меньше и меньше становится.

– Может, птицы объедали? – неуверенно предположил Великан.

– В том-то и дело, что нет. Когда птицы – это мы знали: они понакусывают, сок вытянут, а ягода так и продолжает висеть, только сморщенная, пожухлая вся. Да и против птиц я пугало смастерил.

– Да ну?! – Видно было, что Великана все это забавляло: в черных глазах его искрилась детская радость.

– Да. С детьми наряжали пугалку. Ну, пугало... На палку нацепили старую женину кофту, ведро вместо головы, а на ведро мою старую фетровую шляпу. Фиолетовую, – добавил Эльф, вспомнив цвет шляпы. – И кофта была фиолетовая. Воробьи боялись.

С минуты оба молчали, видимо, представив пугало в элегантном фиолетовом ансамбле и нервных воробьев около него.

– Так, нет, не в птицах было дело. Как не выйдет жена утром собрать ягоды – так только на дне тастика штук сорок принесет. Не больше. И это при четырех кустах. А раньше по два-три килограмма собирала.

Не пойдем, в чем дело. И вот как-то встали мы часов в пять утра, но из дома не вышли, спрятались за кухонной занавеской и наблюдательный пункт себе там организовали.

И что вы думаете? Смотрим – вылезает из прорехи в заборе наша соседка-разведенка. Крупная такая женщина была и как только умудрилась протиснуться?.. Это потом я понял – раскачала две палки в заборе, но для виду их укрепила, чтобы мы ничего не заметили, и повадилась так смородину таскать.

Жена смотрит и кровью наливается. Вы видели, чтобы человек вот так на глазах у вас кровью наливался? И я до этого не видел. А тут – вначале шея багровой стала, потом лицо, а потом даже лоб побагровел. У корней волос кожа и то красная стала. А соседка так деловито знай себе нашу смородину собирает и в ведерко ссыпает

Что потом было, я вам и передать не могу! Не успел я моргнуть, как жена выскочила, как дракон, налетела на соседку, та от перепугу ведро уронила, смородина во все стороны! Жена тоже не мелкая была, повалила соседку на землю и в волосы ей вцепилась. «Ах, ты, воровка, – кричит, – я-то думаю, кто нашу смородину таскает, а это ты, оказывается. И еще совести у тебя хватает, потом со мной мило здороваться, как ни в чем не бывало».

Соседка ей тоже в ответ что-то кричит, по земле обе катаются, все в смородиновом соке, в грязи, песке. Насилу их разнял, все перецарапанные, красные, заре-

ванные. Пока жену в дом увел, вернулся, а соседки уже и след простыл. Видно, через прореху к себе переползла и ведро свое оставила у нас.

– И что потом? – Великан даже подался вперед, так ему не терпелось дослушать. На соседней скамейке тоже приутихли, видно, бабкам было до смерти интересно, о чем это так разговорились молчуны, но слова до них не долетали.

– А что потом? Началась у них тихая война. То соседка как будто бы «случайно» перед нашей дверью помой выльет, то жена ее кошку через забор выкидывает, да так, что та, бедная, летит пулей и визжит от ужаса. В ответ соседка наших кур, что нечаянно на ее дерево вспорхнут, шугает так, их потом отпаивать приходится. А жена специально ветра дождется и сядет около забора семечки грызть, так, чтобы лузга отлетала прямиком на вывешенное соседкино белье. Какие только каверзы друг другу не чинили. На мелкие пакости женщины горазды.

Великан кивнул понимающе и бросил победный взгляд на соседнюю скамейку. Бабки изо всех сил делали вид, что заняты внуками, но по напряженной тишине можно было понять, что все их внимание сейчас приковано к «мужской скамейке».

– А уж ругани, проклятий, визга сколько было, – невозмутимо продолжал Эльф. – То жена от души желала, чтобы соседкины глаза выпали на тарелку, из которой та ест, то соседка вопила через забор, чтобы жена не могла разогнуться на своем проклятом огороде и так бы доживала свой век раскорякой. А иногда совсем уж неприличные проклятия слали друг другу. Ну, вы понимаете, о чем я...

Великан хохотнул и кивнул понимающе. На соседней скамейке вытянули шеи, как солдаты на параде.

Эльф замолчал, словно провалившись в томительную зыбь полусна-полувоспоминаний. Великан выждал с полминуты и тихонько тронул его за рукав. В эти минуты он напоминал ребенка, нетерпеливо ждущего окончания сказки.

– И что потом?

Эльф вздрогнул, сбрасывая с себя забытье. В расщелину сухой доски выглянула любопытная голова ящерики и тотчас спряталась обратно.

– Весну почуяла, вылезла, – добродушно протянул Эльф.

– Да это так, просто. Перепутала месяцы. Холодно еще для них. Вот в мае вылезают из всех щелей греться. – Великану не терпелось дослушать историю, и он не хотел переводить его на ящерику. – А потом что же?

Эльф пожевал бледными губами, и в голосе его появились озорные нотки:

– А ничего. Обошлось. И знаете, как? После очередной яростной ругани, такой, что чуть искры из глаз не сыпались, убить друг друга были готовы, я понял, что это все. Конец. Что завтра соседка потихоньку наших кур отравит, жена в ответ соседкину кошку, соседка – нашу собаку, потом «нечаянно» наши дети где-то поскользнутся, а там и до «нечаянного» пожара дойдет.

И как представил себе все это, так сразу спросил жену, где соседкино ведро, что она тогда впопыхах у нас во дворе оставила.

– Выбросила! – кричит. – Буду я всякую погань в доме держать!

– Возьми наше (у нас тоже такое было), наполни его морковью и отнеси ей. Ничего не говори, просто положи молча у дверей. Скажи, от меня. Только положи на землю, а не швыряй.

– Да чтобы я? Своими руками. Этой лахудре?! Яду ей надо, а не моркови. Тебе надо, ты и иди!

– Делай, как говорю.

Великан удовлетворенно крикнул. Ему нравился тихий и ровный голос Эльфа. Чувствовались за ним надежность и уверенность.

– Кричала, плакала, но еле уговорил. Пошла. Я смотрел ей вслед. Поставила ведро с морковью у ворот, постучала. Соседка открыла, и пока изумленно хлопала глазами, жена всучила ей ведро в руки, буркнула: «Мой велел отнести» и опрометью

домой.

А через два дня слышим, кто-то стучится в дверь. Я открыл: на пороге соседка мнетя.

– Это вам, – говорит и вручает мне авоську отборной картошки сорта «сине-глазка». Рассыпчатая такая, вкусная.

Великан кивнул.

– А сама убежала. Жена молчала уже, только фыркала и сопела. Еще через три дня набрал я в огороде свежей зелени: пучки один в один – лук, укроп пахучий, петрушка, редиска молочная нежная. Глаз радуется.

– Отнеси ей немного, – говорю.

Жена уже не противилась, молча отнесла. А еще через несколько дней соседка нам банки какие-то принесла.

– Это, – говорит, – сама летом крутила закуску из помидоров и перца. «Огонек» называется, потому, что острая.

Тут жена голос подала:

– Я тоже такую делаю, только мои острое не очень любят, все больше сладкий перец кладу, болгарский.

И, смотрю, затихли обе. Смотрят друг на друга, будто сказать что-то хотят и не могут.

И я тут выпалил:

– Спасибо, соседка. А ты чего стоишь? – повернулся к жене. – Посмотри, у нас в кладовке вроде варенье еще с прошлого года должно быть. Сливовое, вишневое, черносмородиновое...

Сказал и поперхнулся. Думаю, ну, каково сейчас будет?

А жена метнулась в кладовку и выходит сияющая. В руках три баночки: янтарное – из сливы-мирабели, рубиновое – из вишни-шпанки и темное, бархатное – черносмородиновое.

– Это тебе, – говорит, и все три банки соседке протягивает.

Та молчит, а потом прослезилась и на шею жене кинулась. Моя тоже носом зашмыгала. Так и стояли обнявшись. А я вышел в огород, пусть их себе поворкуют.

Это уже в конце октября было, и утром от земли пар поднимался холодный, и казалось, снег идет, но только не с неба, а наоборот, на небо летит. И земля, и деревья, и трава были словно седые и сердитые от холода.

А тут вышел – и глазам не поверил: туман этот белый, что от земли шел, расчерчен радугой. Вот как есть – разноцветные полоски света сквозь него вспыхивали. И весь он этой радугой словно стеганое лоскутное одеяло был прошит. Может, солнце на минуту через облака прорвалось, может, я как-то так встал, что увидел эту игру света, только хорошо мне стало на душе.

Вернулся домой, а жена мне:

– Чего стоишь, мерзнешь, иди за стол, сейчас чай с вареньем пить будем вместе.

Вот так и сели чай пить с вареньями и оладьями. И соседка с нами. И дружили они с женой потом долго. Мы уже сюда переехали, а они все дружили. До самой смерти.

Эльф, видно, исчерпал запасы красноречия и затих, опять погрузившись в забытье. Великан тоже сосредоточенно думал о чем-то. На соседней скамейке зашевелились, обеспокоенные внезапно наставшей паузой. Но старики молчали, и старушечьё шипение, вначале тихое, а затем все отчетливей, прорезало вечерний воздух:

– Нет, ты посмотри на них? Сидя-ят, как бабки старые. Мужчины называются! Тьфу! – заводила бабка побойчей.

– И не говори, – вторила другая.

– И-и, милая, да где ж ты мужиков сейчас найдешь? Сорокалетние, смотришь, уж животы отрастили и шаркают, как старики, – подхватывала третья. – Вот у меня зять, сорока еще нет, а ходит – словно себя разбить боится. То кости у него болят, то голова. Так и хочется сказать – как же болит то, чего нет. Да, боюсь, обидится, а дочка мне потом высказывать будет!

Эти разговоры долетали до скамейки Эльфа и Великана и словно разбивались о невидимую стену. Два товарища сидели, погруженные в свои думы и вдыхали вечерний весенний воздух. Это было счастьем, еще подвластным им, счастьем воспоминаний. А если есть это счастье, пахнущее сухим деревом, увядшими розами и нежной печалью, так ли уж важно, о чем шипят бабки на соседней скамейке?..

*Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.*

Давид Самойлов «Память», 1964г.

Искусство

*К искусству нет готового пути.
Будь небосвод и море только сини,
Ты мог бы небо с морем в магазине,
Где краски продают, приобрести.*

С.Маршак

– Хам! Хам и скотина! Фон-барона из себя корчит! Старый хрыч!

Танечка Листнева – 20-летняя студентка театрального училища – девушка, у которой в глазах были звезды, в волосах ветер, а в фигуре музыкальность, кипела бурей и гневом. Молодая кровь бурлила и шумела в ней и, казалось, заполняла все пространство съемной комнатки в коммунальной квартире.

Гневливость вообще была одной из черт Таниного характера. Но – щедры боги к молодости – искаженные гневом черты старческих лиц не приятны, а сердитый блеск глаз и румянец делают молодые лица очаровательными. Ах, как хороша была Танечка в гневе – глаз не оторвать! Тоненькая, как струна, с пылающими щеками, бирюшками пота на верхней губе, завитками темных волос на висках и сияющими зелеными глазами – ни дать ни взять, сама грозная Алектто, сошедшая на землю и оправдывающая свое имя!¹ Но грозность ее была умилительна, и хотелось любоваться ею как можно дольше. Танечка была так поглощена гневом, что не заметила, как в полуоткрытую дверь на нее внимательно смотрит сосед по квартире – Георгий

¹ Алектто – одна из Эриний (богинь гнева в греческой мифологии) Ее имя означает – Непрощающая, Безжалостная.

Адамович Шеленгин, по прозвищу Квазимодо. Трудно сказать, сколько лет ему было – иной раз можно было дать 50, а иной и все 80. На прозвище он не обижался; жители шестикомнатной коммунальной квартиры с ним особо не церемонились и называли Квазимодо и в глаза, и за глаза. Шеленгин относился к этому философски, считая героя Гюго образцом красоты душевной, что неизмеримо выше физической.

Когда соседские дети слишком уж расходились и с ухарским гиканьем и подвизгом вопили: «Ква-зи-мо-до! Ква-зи-мо-до!», Георгий Адамович добродушно усмехался в сивые усы и бормотал себе под нос:

*А если так, то что есть красота,
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?..*

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка».

Но слов этих, конечно, никто не слышал, да, если бы услышали, то не поняли бы, откуда они и к чему...

А всего «квазимодства» в Шеленгине и было что только невероятная худоба, плотно прикрытый левый глаз и развороченная немецким осколком скула. Перед самым концом войны, 15 апреля 1945 года угодил подлечий вражеский осколок в юное мальчишеское лицо рядового Шеленгина и навсегда перекроил ему жизнь. Осколок в госпитале извлекли, но то ли хирург оказался неопытным, то ли еще что-то, но был задет лицевой и тройничный нерв, и левая половина лица перекосилась. Рядовой Шеленгин об этом поначалу не думал, до того ли, когда вот-вот грянет Победа и начнется новая прекрасная, мирная жизнь? Да и к тому же шрамы украшают мужчину – это он затвердил еще с детских царапин и синяков. До свадьбы заживет!

Но не зажило до свадьбы. Не было ее. Началась новая прекрасная жизнь, отстраивали страну после войны, и бывший фронтовик Шеленгин был, как всегда, в строю, теперь уже на мирном фронте. Но отшатывались девушки от перекошенного лица, крепко прижмуренного левого глаза и развороченной скулы.

Не мог же он в самом деле поворачиваться к людям всегда только правой здоровой стороной. Хотелось смотреть людям в глаза прямо, стоя в анфас, хотелось любви верной, а не продажной, и семьи надежной, а не случайных связей. Но, видно, все же с лица воду хоть чуть-чуть, да и пить: никакие душевные красоты не затмевали физического уродства. Он примирился с этим. Как примирился и даже полюбил свою сплошь заставленную книгами угловую комнату – самую маленькую в коммунальной квартире.

– Вам не скучно все время дома, Георгий Адамович? – как-то спросила его Танечка, олицетворявшая молодость, красоту и грацию квартиры.

Таня приехала в столицу из маленького городка, взяла штурмом театральное училище, триумфально поступила в него и сняла жилье у старухи Мельниковой – та занимала большую комнату в центре квартиры и с удовольствием сдала половину площади новоиспеченной студентке.

Старуха была глуховата и страдала артритом, ей иногда нужна была помощь, да и просто хотелось, чтобы кто-то был рядом в этой самой большой, но и самой холодной комнате в доме. В остальных, более светлых и теплых комнатах жили семьи с детьми и оглашали квартиру многоголосными криками. И если бы кому-нибудь вдруг пришла в голову мысль запечатлеть жизнь дома в музыке, то получилась бы прелюбопытная симфония: угловая комната Георгия Адамовича непременно звучала бы в темпе *lento* (медленно, слабо и тихо), следующие две комнаты с детьми стремительно перескакивали бы на темп *allegro* и *allegro vivace* (скоро и очень скоро), затем комната Мельниковой мгновенно переключалась на темп *larqo* (широко и очень мед-

ленно), но при этом иногда звучала бы Танечкиными эскападами в ритме *allegro agitato* (взволнованно). Затем в темпе *vivace* (очень живо) следовали бы две комнаты с вечно верещащими младенцами, и наконец все венчала *кода* – темная тесная кладовка. Ее угасающий звук сползал в паузу и завершал музыку коммунальной квартиры.

– Нет, Танюша, – мягко отвечал Георгий Адамович. – Не скучно. У меня есть все, что я люблю, и мне никуда не хочется. Если бы я мог, то ничего не делал, только бы читал.

– У вас золотые руки, – парировала Танечка. – Вы такую мебель можете сотворить, что готовая из магазина с нею не сравнится. А вы силы убиваете на починку соседской рухляди.

Георгий Иванович буквально за копейки чинил пришедшую в негодность мебель жильцов всего дома, и старые деревяшки в его руках обретали новую жизнь. Он не только возрождал, он дарил им красоту – подпиливал, вытачивал, шкурил, красил, покрывал лаком, обтягивал новой тканью и... одухотворял. Грубо сколоченные табуретки, столы и стулья становились изящными и благородными и долго еще мерцали лаком, словно боялись поверить в свою задумчивую прелесть.

– Зачем, Танечка, – улыбался Шеленгин. – Лишнего мне не надо, а насущное я имею. Новую мебель делать хлопотно, а вот починить – и мне в радость, и людям помощь.

Но в этот раз Танечкина пылкость перешла все возможные границы. Она метала молнии и не забывала при этом посмотреться в огромное наклонное зеркало старухино трюмо. Перед этим старинным зеркалом студентка театрального училища отработывала актерское мастерство, и постоянный взгляд в зеркало стал уже для Танечки привычкой.

– Вы чем-то взволнованы, Танюша? – голос Георгия Адамовича прозвучал в знакомом темпе *lento*.

Девушка круто развернулась на каблучках, отчего подол ее платья чуть взлетел и сразу же плотно обвернулся вокруг ног. Мгновенный взгляд в зеркало, фиксация движения и...

– Вы представляете, Георгий Адамович, какие бывают хамы?! Других людей ни во что не ставят!

Шеленгин тихо, как тень, сделал два шага и остановился на пороге комнаты.

– Ну, немного могу себе представить. Так что же случилось? Может, я могу быть полезен?

Вся его худая фигура, повернутая правой стороной к собеседнику, и даже маленький эмалированный чайник, который он прижимал к груди, выражали внимание и спокойную готовность помочь.

Танечка бросила еще один взгляд в зеркало и размашистым жестом пригласила мужчину войти. Старухи Мельниковой не было дома, отправилась навестить дочь с маленьким внуком.

Как только Шеленгин сел, Таня затараторила быстро и сердито:

– Пошли мы сегодня с подружками в кафе после занятий. Так за соседним столиком такой хам оказался! Весь из себя лощеный, в костюме дорогом, в шелковом платке вместо галстука, на мизинце перстень и ноготь такой длиннющий – фон-барон доморощенный! Заказал стакан чая и официанта бедного загонял. То ему скатерть не такая, то салфетка не накрахмалена, то чай недостаточно крепкий, то недостаточно горячий, то слишком горячий, то стакан не блестит, то подстаканник не такой, то до краев налито, пить, видите ли, неудобно, то еще что-то. Шесть раз ему чай приносили, и все не так! Официант аж с ног сбился! Наконец, на седьмой раз вроде как милость проявил – брезгливо взял, выпил, цедя сквозь зубы, копейки на чаевые кинул и ушел. Даже спасибо не сказал. А официант весь изогнулся, смотрит ему вслед и еще

умиляется: «Барин», – говорит. Ненавижу таких, кто о людей ноги вытирает, а они и рады! Холуи! Ненавижу! А еще с виду приличный интеллигентный человек и так издеваться над обслуживающим персоналом? Только потому, что он официант?!

Шеленгин слушал спокойно, повернув к Танечке правую половину лица, так, чтобы другая оставалась в тени.

– Ну, отчего же, Танюша? Зачем ненавидеть? Ничего ведь страшного не произошло.

– Как? – воскликнула пораженная студентка театрального училища и кинула украдкой взгляд в зеркало. Она было чудо как хороша в эту минуту – твердый овал лица, пунцовые губы и влажные кудряшки на висках! – Как, Георгий Адамович, по-вашему, это нормально – унижать человека?

– Не тот это случай, Танюша, где можно говорить об унижении. Совсем не тот.

– Объясните, Георгий Адамович! – голос Танечки звучал требовательно, а фигура выражала решимость.

Шеленгин посмотрел на нее и улыбнулся.

– Я только хочу сказать, что на многие вещи в жизни, если только они не совсем уже страшные, кошмарные и мерзопакостные, можно взглянуть под другим углом зрения. Вот как мебель. Стоит себе покрытая лаком в темной кладовке, и никто ее блеска не замечает. Так и простоит, пока не рассохнется от времени. А поставь ее на солнце – засияет всеми красками.

Танечка нетерпеливо била носком туфельки в пол. Шеленгин вздохнул и еще ниже наклонил голову. Левая сторона его лица совсем ушла в тень.

– Вот ты говоришь, один – хам, а другой – холуй. Ну, так. А может, «хам» дал возможность «холую» проявить себя во всем блеске своего мастерства?

Танечка распахнула глаза и перестала стучать туфлей. Она развернулась спиной к зеркалу и подалась корпусом вперед к говорившему. Тот продолжал осторожно, словно нащупывая мысль:

– Вот один раз «хаму» чай некрепким показался, официант разлетелся и принес другой – свежесваренный, бархатный. И подал его не просто так, а красиво, так, чтобы белая салфетка оттенила рубиновый оттенок чая. Это ему, официанту, в плюс. Не для кого-нибудь, для себя. Потому что тут не просто мастерство, а искусство.

Подстаканник не тот, так в следующий раз официант принесет другой, более удобный для пальцев клиента, да еще постарается выбрать такой, при каком кольце на мизинце будет сверкать эффектнее. Видишь, сколько официанту возможностей блеснуть мастерством? Конечно, он будет благодарен «хаму» за это и называть его «барин». Ведь тот с барского плеча позволил проявить ему свой профессионализм. И в следующий раз он постарается сделать все наилучшим образом с первого раза, чтобы показать себя во всей красе. Никакого холуйства тут нет! Ты слышала, как торгуются на рынке? Чудеса красноречия проявляют! Думаешь, это все просто так? Нет, иной продавец не того покупателя уважает, кто сразу все не торгуясь берет, а того, кто даст ему, продавцу, развернуться, товар свой расхвалить, о своем труде рассказать! Это тоже искусство. Как же за него не благодарить?!

Шеленгин воодушевлялся и все больше поворачивался лицом к Танечке. А та, совсем не замечая его уродства, смотрела на него во все глаза, и гнев медленно утихал в них. Ярко-зеленые от недавнего гнева они медленно становились оливковыми, спокойными.

– Я тебе случай расскажу, давнишний, – Шеленгин хлопнул себя по лбу и громко рассмеялся. – Голова садовая, шел чайник поставить, да так и не дошел.

– Давайте, я поставлю. У меня есть варенье сливовое. Из мирабели. Очень вкусное. – Таня унеслась на кухню, а когда вернулась, Георгий Адамович сидел так же и улыбался. И складки-шрамы на его лице, на изуродованной левой половине казались мягче и светлее.

– Мама часто водила меня в театр, – начал он задумчиво. – Ни одну премьеру, ни один концерт не пропускала, а дома стихи и рассказы мне читала, сказки рассказывала, хотела, чтобы я рос культурно развитой личностью.

И вот, пошли мы как-то с ней на спектакль по «Мертвым душам». Не то, чтобы всю поэму Гоголя на сцене поставили, а так – встречи Чичикова с помещиками. Но было волшебю. До сих пор помню это ни с чем не сравнимое ощущение – гасится свет в зале, озарена только сцена, и тебя уже нет, ты весь растворен в спектакле!

Но в этот раз мы с мамой опоздали. Она особенно тщательно готовилась к «выходу в свет», как она называла походы в театр. Наглаживала платье, доставала туфельки на каблуках – как я любил, когда она их обувала, ножки у нее становились такими маленькими, изящными, и она словно парила над землей – тоненькая, красивая. И единственное синее пальто с белым меховым воротником сбрызгивала духами и закалывала у ворота брошкой. Мне она казалась принцессой, и я гордился, что у меня мама такая красавица.

Но тут как назло утюг прожог ее любимое платье, мама расстроилась, пока достала другое, пока собралась, спектакль уже начался. Пospели мы только к сцене, когда Чичиков сидит в гостях у Коробочки.

Танечка довольно потерла руки. Сцена «Чичиков у Коробочки» часто ставилась на занятиях в училище, студенты любили ее.

– И вот, – продолжал невозмутимо Георгий Адамович, – сидят друг против друга два героя и должны приступить к важному разговору о купле-продаже мертвых душ. Коробочка, одетая, как и полагается, в темное старушечье платье в горошек, с какими-то буфами и фланелевой повязкой на шее вопрошает жалостливым голоском:

– Здравствуйте, батюшка! Каково почивали?

Чичиков сидит напротив нее, вытянув ноги и сцепив руки на жилете, и словно глубоко задумался о чем-то. По Гоголю, он должен ответить: «Хорошо, хорошо, матушка. Вы-то сами как?» Но Чичиков молчал. Коробочка подождала немного, но он вновь не издал и звука. Мы с мамой сидели в третьем ряду, и я вдруг отчетливо увидел, что актер, игравший Чичикова, попросту спит. Может, устал, а может, и выпил лишнего перед спектаклем. В театре такое не редкость.

Танечка кивнула понимающе.

– И вот тогда-то я увидел самый подлинный спектакль в своей жизни, Танюша. – Это было такое филигранное искусство, перед которым меркнут многие талантливые постановки. Коробочка повела сцену и за себя, и за спящего партнера, боясь только, чтобы он не засопел или не захрапел. Тогда бы все поняли, что он спит. Коробочка начала плести непрерывную словесную вязь «под Гоголя», ювелирный ображаемый диалог:

– Экой ты неразговорчивый, отец мой. Слова из тебя не вытянешь, а приехал-то зачем? Купить что? Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил. А, может, пеньку купишь? Да, и ее у меня теперь маловато. Да и с крестьянами плохо, – тараторила, не останавливаясь, актриса, – осьмнадцать человек померло...А может, покойничков у меня купишь, – сама предложила Коробочка спящему Чичикову и тут же, не переводя дыхание, продолжила: – Вот ты, наверно, думаешь, отец мой: «Мертвые в хозяйстве! Эк, куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде». Ну, да изволь, я готова отдать по пятнадцать ассигнаций, только уж, пожалуйста, не обидь меня!

И все в таком духе, Танечка. Безостановочный, виртуозный двуединный монолог минут на семь! А Чичиков мирно проспал все это время в кресле. И зрители ничего не заметили, только аплодировали.

Когда мы возвращались домой, я спросил маму:

– Он пьяный был, Чичиков? Вот ему достанется от нее, когда проснется!

– Не достанется, – уверенно сказала мама. – Ты видел, как она довольно кланялась, какая радостная была? Ведь это она не только коллегу выручила, так, что никто не заметил, но и благодарна ему была за то, что дал ей возможность еще раз проверить и отточить свое мастерство. У нее теперь двойная, нет, тройная радость: незадачливого товарища спасла, за свою роль аплодисменты получила и за его тоже. Это высшая награда для артиста – значит, есть еще порох в пороховницах!

Шеленгин перевел дух, из-под крепко прижмуренного левого глаза его вытекла слеза и сразу же скрылась в бесчисленных складках шрама.

– Ты, Танечка, небось, громы и молнии бы метала, если бы тебе довелось в такую передрагу попасть – и коллегу своего пьяненького возненавидела, и вообще с ним вместе потом играть отказалась. Верно?

Танечка засмеялась, а Шеленгин продолжил, улыбнувшись:

– Говорят, на каждого мудреца довольно простоты, а я думаю, что и в каждой простоте есть своя мудрость. Вроде бы все ясно – тут черное, там белое, тут «барини», там «холуи», и ярлыки навешать легче легкого, а на самом деле не все так просто, Танечка. Будем ли чай пить, чайник-то уже закипел, наверно?

– Будем! – весело кивнула девушка. – Как это у вас так получается, Георгий Адамович, красиво успокаивать? – Она подумала секунду и уверенно повторила. – Красиво.

– Вот уж не знаю, – развел руками Шеленгин. – Но как по мне, любое дело надо делать красиво. Вот тогда это и будет искусство, а не просто работа.

«Все пропаль!»

*И обратился я, и видел,
что не проворным достается успешный бег,
не храбрым – победа, не мудрым – хлеб,
и не у разумных – богатство,
и не искусным – благорасположение,
но время и случай для всех их.
Ибо человек не знает своего времени.*

Книга Экклезиаста. Гл.9. Стих 11

Который раз убеждаюсь в том, что ничто хорошее не повторяется. Впрочем, как и ничто дурное. Если повторяется, то уже в таком измененном виде, что кажется абсолютно новым и неизведанным.

Во всяком случае, прав поэт: *«Никогда не возвращайся в прежние места. /Даже если пепелище выглядит вполне/Не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне».*

Но, что же делать, если настоящее тревожно и неопределенно, а будущее вообще покрыто мраком неведения? Что? Унывать? Можно, конечно. Причем со смаком, с чувством, с толком, с расстановкой, погружаясь в уныние, как в нежнейшую пену морского прибоя после душного дня.

Но это не выход. Даже из нежнейшей пены хочется когда-нибудь вынырнуть и обтереться досуха полотенцем. Что уж говорить об унынии, разъедающем душу лучше любой кислоты?.. Погрузиться недолго, а вот вынырнуть... Коготок увяз – всей птичке пропасть.

Остается одно – искать отрады в памяти и верить, что ее дворцы и сады, озера и водопады не осыплются, как замки из песка, от соприкосновения с настоящим. Что только в памяти они будут несокрушимыми и пронизанными розовым светом радости. Видно, так уж устроен человек, что с бесконечным упорством ждет повторения прекрасных моментов своего прошлого, ждет неистово, страстно, и прошлое, смягченное временем, кажется ему пленительней и ближе...

...Июнь 1988 года выдался в моем родном городе дождливым. В небе словно прорвало невидимую плотину, и оно обрушило на землю стены воды. Это в прямом смысле были стены. Дождь падал отвесно, густой плотной пеленой, и казалось, что тебя со всех сторон окружает неведомое серое войско. По улицам вместо привычного в это время тополиного пуха неслись потоки. Все канализационные люки были открыты, и возле них вода плескалась бурунами. Асфальт был отмыт дочиста, спутанная сочная трава полегла на землю, как осенью, и цвет ее тоже сменился на осенний – буро-серый. В воздухе пахло мокрым металлом, кожей, смятыми листьями, горчицей, валерьянкой и нагретой резиной – от огромных шлангов. Ими откачивали грязную воду из затопленных подвалов домов. Но почему-то все эти запахи, причудливо смешавшись, явили миру один – кислый и неистребимый – запах незрелой алычи. Вероятно, потому, что дождь напрочь оббил цветы церсиса – излюбленного дерева городских озеленителей. В мае-июне оно выглядело очень нарядным, потому что сплошь покрывалось мелкими розовыми цветами. Казалось, что вдоль дорог стоят сказочные великаны в розовых доспехах. В городе были аллеи, обсаженные одним только церсисом, и гулять по ним было удовольствием – они струили на землю розово-перламутровый свет. А некоторые особо романтические натуры обрывали пригоршни цветов и старательно разжевывали их на счастье! И утверждали при этом, что примета такая же верная, как если разжевать на счастье пятилистник сирени. Но в отличие от сирени цветы церсиса не горчили, а отличались приятной кислинкой. И теперь эта же кислинка в громадном объеме ощущалась в воздухе. Дождь нещадно измял маленькие цветы, расшвырял их по земле, исхлестал струями, превратил в розовое месиво, печально всхлипывающее под ногами, отнял и передал воздуху их неповторимый свежо-кислый аромат. «Такова жизнь», – воскликнул бы какой-то доморощенный философ при виде этой картины. – «Все мы приходим в мир, чтобы украсить его или защитить, или же отдать ему то, чем владеем». И слова эти были бы, конечно, банально верны.

20 июня перекрыло все рекорды! Сезон дождей в Индии – не шел ни в какое сравнение с этим днем! Казалось, что Зевс забросил молнии в дальний угол и вооружился огромным брандспойтом. Хохочущая, осатанелая вода низвергалась на землю, и все, что могло двигаться, попряталось кто куда.

Я, возвращавшаяся с экзамена (они, как правило, бывают в самое неподходящее время), забежала под какой-то навес. Стена дождя была сплошная, серая, под навесом не было ни одного сухого места, но все же оставался пяточок, где влаги было чуть меньше. В этом месте над крышей возвышался еще и кипарис, и его мощная раскидистая крона отражала натиск воды.

– Все пропаль! – сокрушенно произнес кто-то рядом со мной. – Все, все пропаль!

Обернувшись, я увидела... гриб-боровичок. Именно таким мне показался вероятно маленький (почти лилипут), но кряжистый человек со сморщенным, словно печеное яблоко, личиком. На нем были светло-коричневые выцветшие брюки, бежевая рубашка со смешными кисточками-завязками у горла и почти детские сандалии на крохотных ножках. Голову его украшала огромная коричневая соломенная шляпа, что еще больше усиливало его сходство с грибом. Ни дать ни взять сказочный персонаж из фильма «Морозко». Боровичок сокрушенно глядел перед собой, горестно разводил ручки, прицокивал и вздыхал.

– Все, все пропаль, – бормотал он, почему-то на ломаном русском языке, и покачивался как при молитве. Сандалии его при этом издавали странный всхлипывающий звук, словно жаловались на что-то.

Дождь и не думал прекращаться. Временами он чуть слабел, но через минуту с невиданной силой обрушивался вновь. Было ясно, что застряла я под спасительным навесом на час, если не больше.

Боровичок продолжал покачиваться и бормотал что-то теперь уже на родном языке о несправедливости судьбы, посылающей свои блага в неурочный час. Из сбивчивого его монолога я поняла, что он школьный сторож, и на него возложены еще и обязанности по уходу за маленьким пришкольным участком. И что именно теперь, когда дети на каникулах, он решил возделывать его так, чтобы в сентябре все – и дети, и учителя, воскликнули: «Чудо!»

– Что пропало? – осторожно поинтересовалась я.

Чувствовалось, что Боровичок только и ждал собеседника, чтобы начать горестное повествование. Но начал он его почему-то снова на ломаном русском.

Оказалось, что вся его жизнь состояла из одних потерь, причем с младенческого возраста.

– Родился – мамы патирыял, два лет бил – папи патирыял, пять лет бил – бабушка-дедушка патирыял, семь лет бил – дядя-тетя патирыял.

В результате всех потерь Боровичок оказался в детском доме, где воспитывался до 17 лет.

– Патом работа бил – тоже патирыял, потом второй работа бил – тоже патирыял, жена – ушол, дочка – ушол.

Куда «ушол» жена и дочка, я постеснялась спросить, да это и не нужно было. Боровичок жаждал выговориться и нашел в моем лице неожиданного слушателя. Тем более, что дождь все усиливался.

Как выяснилось, после долгой череды потерь Боровичок нашел место сторожа при школе и стал ухаживать еще за садом. Он решил засадить его одними розами всех цветов и оттенков, потому что роза лучше всего приживается в нашей засоленной песчаной почве. Из сбивчивого рассказа выяснилось, что была посажена сотня саженцев карминных, алых, темно-рубиновых, розовых, палевых, оранжевых, лимонных, желто-красных, сиреневых, кремовых и снежно-белых роз. И вначале все они были, как один, похожи друг на друга – маленькие зеленые ветки. Но дивно поднялся на славу возделанный сад, трепетали на ветру темно-красные лакированные молодые листья саженцев, и уже дремали в одинаково-зеленых тугих чехлах острые бутоны. И каждое утро Боровичок осторожно, чтобы не потревожить легкий их сон, обходил свое крохотное владение, бережно прикасался к кустам и старался угадать, какой краской распишет Создатель ту или иную розу. И, прикрывая глаза от солнца, Боровичок старался представить себе цветущий душистый сад, в который вложил он столько труда и любви.

И вот теперь этот страшный дождь. За четверть часа от дружных розовых кустов не осталось и следа. Жалкие, оббитые, исхлестанные, они испуганно прижались к земле, словно ища у нее защиты. Но земля сама перестала быть твердыней. Она превратилась в бурю жижу, с чмоканием вбирающую в себя сорванные листья и бутоны.

– Все пропаль, – рефреном повторял Боровичок, и видно было, что эта потеря дается ему очень тяжело и может даже стать последней.

Надо было что-то сказать. Невозможно было слышать дальше это «все пропаль». У меня возникла мысль. Спасительная или нет, пока не знала, действовала наобум.

– А где он, ваш сад? – как можно более безразлично протянула я.

Боровичок взглянул на меня из-под шляпы. Глаза его были цвета засохшей горчицы и почти утонули в морщинах темного лица. Но он словно ждал, что кто-то хоть из вежливости или скуки заинтересуется его садом.

– Там, – махнул он назад ручкой. – Издес!

Сообразив, что «там» и «здесь» для него понятия тождественные, я робко попросила:

– А можно посмотреть? Все равно ведь стоять еще неизвестно сколько.

Боровичок посмотрел на меня удивленно и благодарно. На мгновение мне показалось, что эту историю под девизом «все пропаль» он рассказывал уже не в первый раз. Бог его знает, сколько людей в течение этих «стенодождливых» дней пережидали под навесом потоки воды. И вынуждены были слушать историю о «погибшем саде». И, скорее всего, отмахивались от нее, как и от самого рассказчика, как от чего-то бессмысленного и нудного.

Сад, вернее, пришкольный участок оказался в двух шагах от навеса. По сути этот навес был большим козырьком, невесть как сооруженным над частью глухого забора, ограждающего участок.

Он действительно был жалок. Повсюду валялись сломанные ветки, размытые с корнями травы, разметанная кипарисовая хвоя, разорванные листья. Все это упало в грязи, которая до этого была плодородной унавоженной почвой. Но самое несчастное зрелище представляли розовые кусты. Плотно прижатые к земле, почти лишённые листьев, они были похожи на изнемогших путников, в отчаянии царапающих бесконечную дорогу.

Позади снова прошелестело: «Все, все пропаль», и в шелесте этом была безнадёжность.

Дождь шел, но уже слабее, чем раньше. «Если через пять минут не обрушится с новой силой, то можно потихоньку идти домой. Значит, уже стихает на сегодня», – смекнула я и безотчетно сделала шаг вперед.

Передо мной наполовину ушедший в грязь лежал маленький розовый куст. Видно было, что он только начал разрастаться и покрываться листьями. Сейчас они были густо облеплены грязью. Я осторожно, чтобы не сильно испачкаться, потянула к себе одну из веток. На ней было всего пять листьев, сморщенных, жалких, но почему-то все, как один, устремленных вверх и изогнутых, как бока крохотной чаши. Словно несколько человек в едином порыве сложили ладони лодочкой, оберегая нечто очень важное и хрупкое.

И внутри этих сморщенных, почерневших от нескончаемого дождя листьев действительно было бесценное чудо. Крошечный острый бутон, живой, не надломленный! В прорези тугих зеленых лепестков виднелась тончайшая розовая полоска – значит, скоро явится миру юная красавица в розовом платье!

Я потянула к себе еще несколько веток теперь уже других кустов. На некоторых из них точно так же страшные, почерневшие листья сложились лодочкой, оберегая маленькие бутоны с пока еще спящими в них красавицами в вишневых, белых, лимонных, оранжевых и сиреневых платьях.

– А вы говорите: «все пропаль»! – сказала я и протянула Боровичку одну из таких веток. – Смотрите.

Он недоверчиво, словно не желая еще расставаться с унылым «все пропаль», поднес к глазам ветку, потом вторую, третью, напряженно вглядывался и вдруг распустил все морщины на темном лице, расцвел, словно еще неведомая миру коричневая роза.

– Ай, дай Бог тебе счастья за такую весть, ай, добрая судьба занесла тебя, дочка, сегодня сюда, – забормотал он вновь на родном языке, и это было началом бесконечного, теперь уже счастливого монолога, краткий смысл которого был в том, что высшие силы всегда будут милосердны и вступятся за тех, кто старается жить по совести, но имеет в душе злых помыслов и работает для радости и красоты.

За монологом мы совсем не заметили, как дождь совсем ослабел, выдохся, и теперь на землю падали уже редкие капли. Небо, словно красивая капризная женщина, закатило истерику с бурным плачем, но теперь устало рыдать и лишь иногда судорожно всхлипывало. Но вскоре и этим всхлипываниям пришел конец, и на грязи, в которую мы с Боровичком ушли по щиколотку, появилась тонкая бледно-золотая полоска – несмелая улыбка солнца. Оно сразу же скрылось за еще плотными тучами,

но тут же появилось снова – легло широкими полосами на изгвазданную землю, лежащие на ней розовые кусты и прибитую траву.

– Все пропаль? – улыбнулась я.

Боровичок улыбнулся в ответ, и мне показалось, что так, наверно, улыбалось бы само счастье – смущенно и светло.

– Нет, – тихо ответил он. – Будут жить. Приходи сюда, дочка, через десять дней. Самые красивые розы для тебя соберу. Такого сильного дождя уже, наверно, не будет. Приходи через десять дней, они все расцветут.

Боровичок оказался прав – после 20 июня дожди стали убывать и вскоре совсем прекратились. Но мне не удалось прийти туда снова. Вначале было некогда, потом – тоже некогда, затем – как всегда, некогда, а после, наверно, и незачем. Сейчас на этом месте давно уже возвышается другая постройка. И только в памяти моей будет вечно цвести благоуханный розовый сад, который мне довелось увидеть неприглядным и жалким. Но каких только чудес не бывает под солнцем?.. И последние становятся первыми, и дивно расцветают мертвые сады, и «все пропаль» сменяется на «будем жить».

Каких только чудес не бывает под солнцем!..

Две памяти. Две жизни. Две Маши.

*Детей чужих не бывает.
И в минуты наибольших мировых
потрясений больше всего
страдают дети.
Будем помнить о них...*

Удивительная штука – человеческая память. Избирательная и прихотливая, беспощадная и умиляющая, жалеющая и исцеляющая – она всегда разная. Постоянное в ней, пожалуй, только одно: способность ярко запечатлеть самое дорогое или самое болезненное. Но иногда то и другое переплетены так тесно, что невозможно их разъединить. Так и впечатываются в память – яркой вспышкой, прекрасной и пронзительной до боли. И кажется, что все это было совсем в другой жизни...

Воспоминание первое. Август 1978 года. Мы едем в Крым! Мы – это родители и я, превратившаяся в один сияющий и извертевшийся от любопытства комок. Сияю, понятно, от предвкушения счастья! А как же иначе?! Я – не какая-то хухры-мухры, а отличница-третьеклассница и теперь могу с чистой совестью обозревать красоты ЮБК. Заслужила!

Мы сняли комнату в гостеприимном доме супругов Бельтюковых. Чета жила в Алупке и очень любила свой небольшой город и дом с огромной верандой, выходящей всеми окнами на море. Вид из окон открывался потрясающий! В безветренную погоду Черное море казалось громадной глазурированной бирюзовой чашей с узором из кипарисовых веток. Сердце мое заходило от восторга. В бабушкином серванте высилась горка тарелок из тончайшего китайского фарфора и таким же а-ля китайским рисунком – по краям почти прозрачной светло-кремовой тарелки словно тушью были прорисованы черные веточки пиний. Бабушка никогда не называла их обыкновенными сосновыми ветками! Только – «веточки пиний»! И почему-то от этого становилось радостно на душе. Сосновые ветки – это будни! А вот «веточки пиний» – праздник, волшебство. Не хотелось отрывать взгляда от этого рисунка, от мерцающего загадочного фарфора. И сейчас словно гениальный художник тончайшей кистью прорисовал кипарисовую хвою вокруг бирюзовой чаши моря – вдоль всего берега тянулись кипарисовые аллеи, и хвоя их была особенной – с легким сизым оттенком, отчего деревья казались лазоревыми.

Заманчивые открытия поджидали нас на каждом шагу. И величественная «Ай-Петри», действительно похожая на мирно спящего медведя, и галечный пляж, так не похожий на привычные песчаные бакинские пляжи, и потрясающий Воронцовский дворец, и парк со знаменитыми тремя прудами: большим, средним и малым. Сколько радости, сколько незабываемых впечатлений.

А потом выяснилось, что расстояния между городами ЮБК настолько небольшие, что можно без труда пройти три или четыре километра и оказаться в Бахчисарае, или Симеизе, или Евпатории. Сами названия этих городов уже звучали, как музыка, и обещали встречу с прекрасным. Чего стоили, например, наши пешие прогулки вдоль лазоревых кипарисов! Они пахли нагретой смолой, морской солью и йодом и мерцали легким сиреневым светом – ветки были густо усеяны светлячками. Счастье, чистое, незамутненное, веселое дарили эти прогулки.

Только одна из них оказалась печальной. Как-то по дороге в Симеиз мы набрали на старое алупкинское кладбище. Оно представляло собой грустное и тяжкое зрелище. Неприветливый лес, груда камней на земле и куча сломанных железных крестов. Тропинки поросли травой и были густо усыпаны прошлогодними листьями – черными и сухими. Разбитые покосившиеся каменные могилы, металлические спинки кроватей вместо оград. От каждого уголка здесь веяло заброшенностью и сиротством.

Мы быстро поднимались по пригорку, чтобы поскорее миновать это место, и вдруг мама ахнула и легко схватила меня за руку:

– Смотри!

Прямо перед нами у кривого дерева стоял покосившийся железный крест из двух сварных труб. На нижней перекладине была прикреплена ржавая табличка с неровной надписью:

«Мурочка Чуковская. 24. 02. 1920 – 10.11.1931».

– *«Мурочку баюкают, милую мою»*, – тихо сказала мама, и голос ее дрогнул. Сколько раз она читала мне эти строки, закрывая томик сказок Чуковского, – кажется, самых веселых, самых звонких сказок на свете. Могли ли мы подумать, что одна из ежедневных прогулок из Алупки в другой крымский городок обернется для нас таким горьким открытием. На заброшенном алупкинском кладбище нашла свой последний приют и покой Мария Корнеевна Чуковская, Мурочка, младшая дочь Корнея Чуковского, его муза, героиня сказок, соавтор, и самая большая потеря в жизни Корнея Ивановича.

Это ей, родившейся в эпоху «ГОРОХРА и тифа», Чуковский посвятил свои лучшие сказки: «Муха-Цокотуха», «Путаница», «Мойдодыр», «Телефон», «Тараканище» и «Айболит».

Это во многом благодаря ей была создана замечательная книга о детской речи «От двух до пяти».

Это она – смешная, изобретательная, творческая, чувствительная, талантливая, смогла стать отцу настоящим другом. Он читает Муре написанное, они обсуждают книги. *«Может быть, потому, что я пропитал ее всю литературой, поэзией... она мне такая родная – всепонимающий друг мой»*, – пишет Чуковский в своих дневниках.

И вдруг гром среди ясного неба: Мурочке был поставлен страшный диагноз – костный туберкулез. Болезнь и сейчас довольно тяжелая, а в те годы вообще считалась неизлечимой. Но страшное было не только в этом. Чуковский считал болезнь любимой дочери возмездием за предательство. Его, отцовское, предательство своей маленькой музы.

В феврале 1928 года в «Правде» вышла статья Надежды Крупской «О «Крокодиле» Чуковского»: *«Такая болтовня – неуважение к ребёнку. Сначала его мнят пряником – весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, «Крокодил» ребятам нашим давать не надо...»*

Началась травля писателя. Из издательств, из продажи изымались книги, в типографиях рассыпались уже набранные экземпляры изданий. Те самые добрые, веселые, звонкие сказки, на которых выросло не одно поколение детей Советского Союза.

И Чуковский не выдержал. В декабре 1929 года в «Литературной газете» вышла покаянная статья Корнея Ивановича, в которой он признавал собственные ошибки и клятвенно обещал *«вместо глупых сказок»* написать поэму *«Весёлая колхозия»*.

Но поэма так никогда и не будет написана. И Чуковский вообще больше ничего не напишет для детей. Он – литературный и художественный критик, автор фундаментального труда о русском языке *«Живой как жизнь»*, исследователь творчества Некрасова, один из лучших переводчиков английской литературы, прославился и вошел в историю лишь благодаря своим искрометным сказкам. Об этом он как-то даже пошутил: *«Я написал 12 книг, но кто их помнит? А стоило мне один раз шутя написать сказку «Крокодил», и я сделался знаменитым писателем. В общей сложности на свои сказки я потратил шесть месяцев, на написание других книг – всю жизнь. Но прославился благодаря этим шести месяцам»*.

Но после своего отречения он не создаст ни одной сказки. Буквально через несколько дней после его статьи о «глупых сказках» и «веселой колхозии» Мура заболела, и тогда же прозвучал приговор: *«костный туберкулез»*.

Болезнь прогрессировала стремительно. Отец метался между надеждой и отчаянием и не переставал корить себя за малодушное отречение. Временами он просто убегал из дома, не в силах вынести страдания девочки. Читать дневники Чуковского той поры очень тяжело: *«Ребенок слепнет на один глаз, начинаются боли в ноге, потом поражается второй глаз, вторая нога. Муре все время больно»*.

Кто-то из друзей узнает о чудодейственной санатории доктора Изергина в Крыму. Доктор лечит ребятишек с таким диагнозом по собственной методике: закаливанием, ваннами, солнцем, морским воздухом.

Начались лихорадочные сборы. Но Муре уже так плохо, что она с трудом выносит дорогу. *«При каждой выбоине, при каждом камушке, при каждом повороте Мура кричала, замирая от боли, – и ее боль отзывалась в нас троих таким страданием, что теперь эта изумительно прекрасная дорога кажется мне самым отвратительным местом, в к-ром я когда-либо был»*.

До конца своей долгой жизни Чуковский ненавидел Крым, не хотел даже слышать, содрогался при упоминании о нем. Волшебный край, пропитанный солнцем и морем, оказался пропитанным для него горем.

«Ну вот были родители, детей которых суды приговаривали к смертной казни. Но они узнавали об этом за несколько дней, потрясение было сильное, но мгновенное, – краткое. А нам выпало присутствовать при ее четвертовании: выкололи глаз, отрезали ногу, другую – дали передышку, и снова за нож: почки, легкие, желудок...»

Невозможно без содрогания читать эти самые горестные страницы дневника Чуковского. Невозможно читать и о страданиях матери – Марии Борисовны, она была на грани безумия.

Наконец, 10 ноября 1931 года двухлетние мучения Мурочки окончились. Корней Иванович сам уложил ее в гроб, который смастерил из кипарисового сундука. *«Легонькая»*, – записал он в своем дневнике. Муру похоронили на старом Алупкинском кладбище.

«Погребение кончилось. Все разошлись молчаливо, засыпав могилу цветами. Мы постояли и понемногу поняли, что делать нам здесь нечего, что никакое, даже – самое крошечное – общение с Мурой уже невозможно, – и пошли к Гаспре по чудесной дороге – очутились где-то у водопада, присели, стали читать, разговаривать, ощутив всем своим существом, что похороны были не самое страшное: гораздо мучительнее было двухлетнее ее умирание».

Смерть маленькой музы Чуковского, его друга, светлого духа его поэзии поделила жизнь семьи на «до» и «после». Мария Борисовна стала все чаще замыкаться в себе. А Корней Иванович знал только одно лекарство – общение с детьми. Он не делил их на своих и чужих. Лишенный в детстве отца, всю жизнь мучившийся из-за своего незаконного происхождения – он сам становился добрым отцом всем встретившимся ему в жизни детям. Но Другом – всепонимающим, таким родным называл только младшую дочь – Марию – незабвенную свою Мурочку. И после ее ухода так и не нашел в себе силы посетить Крым.

3 ноября 2021 года на могиле Мурочки вместо ржавого креста был установлен трогательный памятник работы скульптора Евгения Козина. Памятник представляет собой стопку книг, на одной из которых изображена Муха-Цокотуха, а на корешке написано – «Муркина книга».

Но в моей памяти так и остались покосившийся крест из двух сварных труб и ржавая табличка с надписью – «Мурочка Чуковская». И мамин дрогнувший голос. И редкие звезды на уже вечеряющем алупкинском небе. Они горели совсем низко над верхушками сосен, и свет их был зыбким, мерцающим, словно они тоже покачивали, баюкали «Мурочку, милую мою».

Воспоминание второе: Июль 1987 года. Мы с папой в Ленинграде или, если уж быть более точной, – в зеленогорском пансионате.

Таких огромных комаров и такой холодной воды, как там, мне не приходилось встречать. Небольшой и очень уютный пансионат был окружен лесом, и вместе со смолистым воздухом в низенькие окна врывались огромные в пол-ладони и толстые болотные комары. Жалили они немилосердно. После укусов оставались болезненные волдыри. Спастись от этих летающих злобных слонов можно было только плотно пригнанной к телу одеждой – комары за версту чуяли открытые полоски кожи и мгновенно пикировали на них.

Но, как говорится, кроме яда, есть и противоядие. Ничто так не снимало зуд и боль после укусов, как холодная, льдистая вода из рукомойников. За ночь вода в них отстаивалась и вместе с прохладой, кажется, вбирала в себя отражение звезд и запах хвои. От воды сводило зубы, и лицо полыхало румянцем.

Публика в пансионате подобралась на редкость дружная. Все как на подбор (и пожилые, и более молодые) дружно обсуждали свои болячки, смаковали их, охали, вздыхали, делились впечатлениями о медицинских процедурах и ассортименте блюд в столовой. Я отчаянно скучала, а папа искренне не понимал, как можно скучать в этом «чудесном месте с целебным воздухом». Спору нет, все так и было, но мне хотелось посмотреть город, а не любоваться каждый день соснами из окна.

Вот и этот день 9 июля был похож на предыдущие. После ужина отдыхающие чинно прогуливались по центральной площадке. Она представляла собой четырёхугольник, выложенный каменными плитками и обсаженный по периметру розами. Розы были северные: неброские, пыльно-розового цвета, изящные и пахли дождем. На влажной деревянной скамейке кто-то забыл выпуск «Вечернего Ленинграда». Я машинально развернула его, и на последней странице мне бросилось в глаза известие в черной рамке:

«...скончался писатель Алексей Иванович Пантелеев, писавший под псевдонимом Леонид Пантелеев, автор «Республики «Шкид» и рассказов для детей...».

На газету упало несколько капель дождя. Надо было возвращаться в коттедж. – Что с тобой? – спросил папа. – Холодно?

Нет, мне не было холодно. Просто стало грустно, что от скалы по имени «детство» откололась еще одна часть...

Леонида Пантелеева я, конечно, знала по рассказам «Честное слово», «Часы», «Трус», «Качели» и многим другим. В любой хрестоматии и книге для внеклассного чтения были его произведения.

Но больше всего любила я перечитывать его книгу «Наша Маша», посвященную единственному его ребенку – дочке Машеньке.

По сути это дневник любящего родителя, который он вел с рождения дочурки до пяти лет. Со страниц его встает образ чудесной девочки – отзывчивой, умной, талантливой и очень эмоциональной. Казалось, что этому ребенку уготовано счастливое будущее и долгая жизнь. Машенька Леонида Пантелеева была действительно нашей, своей, родной.

Могла ли подумать тогда, в июльский сырой вечер, что Маша проживет всего три года после отца и будет похоронена в одной могиле с ним? Что из короткой своей тридцатичетырёхлетней жизни последние семнадцать лет она проведет в психиатрическом диспансере и уже не выйдет оттуда? Что состояние ее будет настолько тяжелым, что лекарства она будет принимать по 18 раз в день?..

Ни о чем этом я в тот июльский вечер не знала. И была уверена, что героиня «Нашей Маши» станет заботливой хранительницей архива своего отца, а возможно, и дома-музея писателя.

Но у Судьбы были иные планы.

В августе 1956-го 46-летний Л.Пантелеев впервые стал отцом. Жене писателя – Элико Кашидзе – уже 40. Ее первый ребенок умер во время блокады. *«Давно ли был он, этот пасмурный августовский день, когда я стоял в подворотне родильного дома имени Видемана и с трепетом читал на доске, среди прочих фамилий, фамилию некоей Пантелеевой-Еремеевой, пол женский, рост 50 сантиметров, вес 3050 граммов! Давно ли, казалось бы, мелькнул и другой, ясный, пронизанный солнцем осенний денек, когда я через ту же подворотню бережно вынес на улицу нечто, завернутое в синее шелковое одеяло, нечто крохотное, живое, шевелящееся, незнакомое и вместе с тем уже бесконечно близкое, вызывающее слезы на глазах!»* – запишет он в дневнике.

И мгновенно, буквально с первых же дней началось воспитание, довольно суровое. Нет, конечно, речь ни в коем случае не идет о рукоприкладстве, но, прочтя «Нашу Машу», я недоумевала, почему автор в предисловии написал:

«Появление в моей жизни дочери было благодатью, чудом – тем чудом, какого не знают, вероятно, родители более молодые. Читателям этой книги – тем, кому мое отношение к Маше покажется чрезмерно горячим, экзальтированным, я советовал бы помнить то, о чем я только что сказал».

Его отношение к дочери я бы не назвала ни горячим, ни экзальтированным. Тем более – чрезмерно. Скорее – полумуштровым.

Писатель и его супруга едва ли не с рождения внушают дочке, что не должно быть никаких собственных желаний.

Еще до ее рождения Элико увидела ребенка, закатившего безобразную истерику в магазине, и поклялась, что, если вновь станет матерью, сделает все, чтобы такого не допустить. Машенька чуть ли не с первых месяцев жизни должна была понимать, что в доме ей ничего не принадлежит, и, если кто-то попросит, надо беспрекословно отдать игрушки и книжки. О вкусах и предпочтениях тоже никто не спрашивает.

«За завтраком Машка ревела. Ей дали кашу с брусничным вареньем, а она, видите ли, захотела с инжировым. Ничего, слопала с брусничным».

Материальный достаток в семье довольно высок: четырехкомнатная квартира в центре Ленинграда, няня, домработницы; каникулы в Доме творчества в Комарово, каждое лето – дача.

Алексей Иванович почти все время посвящает Маше: много гуляет с ней, учит немецкому языку, читает, приучает к гимнастике. Но девочка не любит читать, не любит пересказывать. У нее нет друзей. На праздники родители Маши тщательно отбирают детей из хороших семей. Большинство кажутся им «разбитными».

«Слишком уж она у вас робкая», – как-то заметила Алексею Ивановичу старушка в парке, увидев, как Маша не решается подойти к группе играющих детей.

«Лучше пусть будет робкая, чем наглая», – отрезал писатель.

«Машка тянется к детям, но я ... я, вероятно, совершаю ошибку, ограждая ее от той среды, в которую ее рано или поздно неизбежно втянет жизнь», – пишет в «Нашей Маше» Пантелеев.

«Мамсик» и «Папсик», как она называет родителей, заменяют ей друзей.

Книга заканчивается, когда Маше исполняется пять лет. Девочка ни разу не была в кино, телевизора в доме нет, на общественном транспорте она будет ездить в сопровождении до 17 лет. Один-единственный поход в цирк обернулся для Маши нервным перевозбуждением.

В пять лет у Маши появляется одобренная родительской цензурой подружка Ксения Мечик-Бланк, сестра писателя Сергея Довлатова. Их дружба продлится до отъезда Ксении в Америку. Потом в дневниках Ксения вспоминала о Маше:

«Твой мир мне не совсем понятен. Я не знаю, что делать с твоим признанием, когда однажды на комаровской дороге, спросив меня, люблю ли я своих родителей, ты вдруг говоришь мне странную вещь: «А я своих не люблю, вот так-то».

Писатель отмечает, что особых способностей в дочери нет, самый тяжелый в школе предмет для нее – арифметика. Но есть несомненный артистический дар. Ее номером – изображением пьяной курящей эстонки в кафе – восхищается сама Ахматова. Отец и мать польщены. Этот номер долго будет гвоздем программы на званых обедах и ужинах в семье Пантелеевых.

«Талант у нее комедийный. Бывает, смеемся так, что штукатурка на головы падает. Последнее время стала изображать своих сверстников, ребят. Чудесно читает деревянным голосом стихи (копирует одну свою одноклассницу-провинциалку)», – умиляется Алексей Иванович.

Где-то уже в 80-х годах Пантелеев написал и издал книгу с примечательным названием «Верую». Для него, провозглашавшего в своих повестях и рассказах идеалы неутомимого строителя коммунистического общества, такое название о многом говорит.

Вот как писал о глубокой и тщательно скрываемой религиозности Алексея Ивановича поэт Давид Самойлов:

«Я хочу рассказать то, что знаю о Маше Пантелеевой из книги её отца, написанной в 80-х гг. Маша действительно оказалась в психиатрической лечебнице в 18 лет, но причина не только и не столько в раннем развитии. Дело в том, что писатель и его жена были глубоко верующими людьми и эту веру воспитывали в своей дочери. Маша родилась в 1956 году, была пионеркой, естественно, школа воспитывала её в духе атеизма. А дома она подолгу молилась, выстаивала обедню. Так из года в год надламывалась молодая душа... «Добила» меня заключительная фраза писателя Пантелеева: если бы вновь пришлось выбирать, он выбрал бы больную, но верующую дочь, а не здоровую атеистку...»

Постоянные нравоучения, иногда переходящие в крики, наказание молчанием, религиозность, которую нужно было постоянно скрывать, отсутствие друзей – все это давило на психику Маши. Кроме того, увы, есть простая логика. Машенька родилась 4 августа 1956 года, а в воспоминаниях отца четко указано, что он помнит «тот осенний денек, когда вынес из подворотни роддома нечто завернутое в синее шелковое одеяльце». Родилась в начале августа, а была выписана из роддома в «осенний денек». То есть уже в сентябре. Даже в то время выписка из роддома осуществлялась максимум через 10 дней (при условии, что с матерью и ребенком все в порядке). А тут продержали не меньше месяца. Значит, было что-то внушающее опасение, возможно, родовая травма или просто тяжелые роды, учитывая солидный возраст матери. Это всего лишь предположение, но, может быть, не следует им пренебрегать...

В письмах Алексея Ивановича к друзьям все чаще появляются тревожные сообщения о частых головных болях, повышенном давлении дочери. Родители переводят ее из школы в школу.

После десятого класса Машенька собирается поступать в театральный. Но родители отговаривают ее. И вообще убеждают отдохнуть от школьной «каторги» хотя бы год. Но Маша не хочет терять времени и подает документы на филфак. Однако учиться там ей не пришлось: после тяжелого гриппа случился нервный срыв. Ее поместили в психиатрическое отделение института им. Бехтерева. И Маша вдруг признается:

«Мне нравится в больнице. Я рисую, гуляю».

Когда ее отпускают домой, состояние ухудшается: она бьет стекла, нападает на прохожих. Отец читает ей книги, непременно со счастливым концом:

«Это важно – не дать угаснуть работе ума и души».

Маша восемь лет (!!!) не выходит из дома. «Запуганный зверек», – называет ее коллега отца по писательскому цеху – публицист Лидия Корнеевна Чуковская.

После внезапной смерти Элико Семеновны все заботы о Маше легли на Алексея Ивановича. 18 раз в день по часам дает лекарство. Машу снова госпитализировали, и уже из психиатрического диспансера она не вышла...

Книга Л.Пантелеева «Наша Маша» была такой доверительной, такой бесконечно близкой читателю. Но сам автор был человеком сложным, испытал много несчастий и личных, и общих со страной, да и от пагубных привычек не был застрахован. И довольно жестко относился к людям – это даже отражалось на его лице. Один из знакомых, описывая его внешность, заметил: *«Может быть, он с женщинами был мягче, я не видел его. С мужчинами он был горд, неприступен, не раскрывающий рта, у него лицо очень твердое, в котором не было ни одной мягкой складочки. Усики такие над губой, немножко похож на штабс-капитана Рыбникова, на японского шпиона, темные очки. Каждый раз, когда я его видел на Ленинградском Союзе писателей, он был неприступен. Он не ходил на их собрания. В Доме творчества он тоже вёл себя очень гордо, недоступно. Обедал всегда один. И потом, у него был такой образ жизни выработан, что он днём спит, а ночью работает. Он был необыкновенно одинок, но этот клубок тайн, недоговорок, противоречий, обид, про которые никому нельзя сказать».*

Он хотел воспитать дочку так, чтобы злая толпа ее не погубила. Но при этом с какой-то деспотической настойчивостью требовал от нее следования его нравственному идеалу. Есть в «Нашей Маше» страницы, которые без содрогания читать невозможно. Трехлетняя девочка пытается пробраться в папин кабинет, но мама, бабушка, домработница преграждают ей дорогу. Ребенок заливается слезами, умоляет их, папу. И папа прислушивается за дверью к ее плачу, к их увещаниям: «Нельзя! Папа работает!» Наконец ребенка уводят. Папа вздыхает, закуривает и с усилием возвращается к работе – пишет «Нашу Машу», может быть. И, может быть, с удовлетворением отмечает для себя: он проявил волю, характер, не поддался на слезы и мольбы горячо любимой дочери.

Но Судьба книг не пишет и не читает. Ее инструмент – весы. На них она отмеряет каждому долю боли и радости. И, возможно, уже много лет спустя после написания «Нашей Маши» ее автор так же слезно молил Судьбу сжалиться над ним. Но Судьба так же, как и он когда-то, решила проявить волю, характер и не поддавалась слезам и мольбам.

Всего лишь два воспоминания – крохотные листки с дерева памяти: август 1978 и июль 1987 года. Алупка и Ленинград. И две Маши, две маленькие музы русской детской литературы – Мария Чуковская и Мария Пантелеева-Еремеева. Прожившие так недолго, и бессмертные, пока о них помнят...

Милостыня судьбы

У недавно ушедшего от нас Александра Градского есть чудесная песня «Чужой мотив». Речь идет в ней о том, что певцу предложили сочинить веселую песню про старый чердак, и он послушно берется за эту работу. Только вот мысли, которые возникли у него при посещении чердака, скорее, ностальгически-нежные, чем веселые...

Но лиха беда – начало! После третьего или четвертого прослушивания этой песни неясные обрывки воспоминаний нахлынули на меня. Они путались, рвались, но и создавали связи. Поистине ощущение было как в словах из романа:

*Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.*

Вспомнилась няня (да, разве забывала ли я когда о ней?!), и ее насмешливо-веселое:

– Ну-с, сегодня у нас по плану генеральная уборка этажерки!

Ах, уж эта нянина этажерка! Ни одна сокровищница мира не была для меня столь притягательна, как она! Каждая из ее полок таила в себе несметные богатства.

Тут были старая подшивка журнала «Крокодил» с рисунками Кукрыниксов и Бориса Ефимова, стопка патефонных пластинок, старинные пудреницы с перламутровыми розами на крышках, фарфоровые статуэтки балерин, веера из китайского шелка, жестяные патрончики с помадой (непрененно алого цвета), портрет Александра Блока в овальной рамке, деревянные флаконы болгарского розового масла, вышитые и вязаные салфетки и еще много разных чудес!

– Вот егоза! – добродушно поварчивала няня. – Ты мне помогать будешь или картинки в журналах рассматривать? Намочи тряпку и протри пыль. Смотри, вот так! – И осторожно вкладывала мне в руку малюсенькую тряпку.

Конечно, все это делалось только для вида. Никакой пыли я не протирала, да и что можно было вытереть крошечным обрезком ткани?! Няня со всем управлялась сама, но ворковала при этом так задушевно, что я и вправду думала: какая я молодец – нянина помощница! Сама все прибрала!

– Ах, ты моя умница-разумница, нянина помощница, – приговаривала няня, ловко расставляя предметы по местам. После няниных рук они блестели, как новые, и всем своим видом говорили: «Смотрите, какие мы чистые, как за нами хорошо смотрят!» – Вот и порядок навели! А сейчас мы с тобой чаю попьем с пирожками, чайник-то на плите давно романсы поет!

Улыбаясь этой вкусной шутке, я опрометью мчалась на кухню, чтобы насладиться исполнительским искусством чайника. Особыми вокальными талантами он, правда, похвастаться не мог, просто сопел, пыхтел и свистел, как сотни других своих собратьев.

– Осторожно, – опережала меня няня. – Перевернешь чашки с кипятком. Возьми-ка лучше тарелку с пирожками и – марш в комнату!

Няня несла перед собой маленький поднос с двумя золотистыми чашками на розовых блюдцах, я важно вышагивала за ней, прижимая к себе блюдо с пирожками.

В комнате нас встречал стол, накрытый белой скатертью (и когда только успела? Я же на кухне была всего минутку!), и льющийя невесть откуда голос:

*Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным, цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.*

– Это что? – вопросительно глядела я на няню и в ответ слышала:

– Голубчик! Козин, Вадим Алексеевич. Любимый певец мой. А это «Песня о дружбе». – И голос няни становился таким же бархатным и пленительным, как голос неведомого певца с патефонной пластинки. Да что там голос – даже поблекшие глаза вновь расцветали небесной синью!

*Веселья час придёт к нам снова,
Вернёшься ты, и вот тогда,
Тогда дадим друг другу слово,
Что будем вместе, вместе навсегда.*

«Навсегда» – какое надежное и крепкое слово. И вместе с тем – какое печальное. «Навсегда» – это значит остаются с нами наша любовь и нежность, преданность и уют. «Навсегда» – это значит безвозвратно. Никогда больше не распахнутся двери приветливого няниного дома, не вспыхнут молодым голубым огнем ее глаза, не зазвучит звонкий ее смех. Да и бархатный голос любимого певца донесется не с патефонных пластинок, а с оцифрованных электронных версий. Конечно, звук будет чище, но едва ли очаровательней.

Хотя очарование – вещь субъективная: мы любим что-то или кого-то не из-за него самого, а из-за тех чувств, которые они вызывают в нас. Как говорится, не по хорошу мил, а по милу хорош...

«Навсегда» – это значит останется с нами память. Где-то со дна души будет мерцать она негасимым светом, как со дна ручья вдруг вспыхнет разноцветными бликами кусочек стекла или камень-голыш. И голос полузабытого певца накроет невидимыми волнами наше сердце. И захочется вспомнить о нем...

В 30-40-е годы XX века имя Вадима Козина не сходило с афиш концертных залов Советского Союза, тиражи пластинок были колоссальными, а количество поклонников не уступало поклонникам Сергея Лемешева и Ивана Козловского.

И вдруг! Можно как угодно называть это вдруг. Рок, фатум, усмешка Судьбы. Но именно так и случилось в карьере певца. К изумлению публики, на пике творческого взлета он неожиданно перестал появляться на эстраде. И больше никогда не появился на столичной сцене. Чарующий голос остался только в записях.

*Осень, прозрачное утро,
Небо как будто в тумане,
Даль из тонов перламутра,
Солнце холодное, раннее.*

*Где наша первая встреча?
Яркая, острая, тайная,
В тот летний памятный вечер,
Милая, словно случайная.*

Он был действительно баснословно популярен. Все было в его руках: слава, почет, деньги. И такое оглушительное исчезновение в середине 40-х годов породило массу слухов. Как это может быть? Такая личность, но ни пластинок не выпускают, ни по радио не передают.

Судьба певца, как ни странно, так и осталась тайной за семью печатями. Нестыковки начались буквально с его появления на свет. В паспорте годом рождения артиста был указан 1906-й, а сам Козин утверждал, что родился в 1903-м. Однако по записи в церковной книге будущий король романса был ровесником первой русской революции 1905 года. И такие неясности в биографии Козина повсюду.

Родился Вадим Алексеевич Козин 21 марта 1903 года в Петербурге. Его отец был богатым купцом, а мать – чистокровной цыганкой, певшей в ресторанном хоре. Среди друзей дома были и великолепная Анастасия Вяльцева – исполнительница русских и «цыганских» романсов, и красавец Юрий Морфесси, обладатель чудесного баритона, «Баян русской песни», как называл его Ф.И.Шалапин. Как вспоминал сам Козин, однажды Морфесси, усадив его на колени, произнес: «Вот кто сменит меня!»

Часто Козин упоминал о дальнем родстве (может, и мифическом, но он верил в него искренне) с царицей «цыганского» романса, любимой певицей Николая II – Варварой Паниной.

В революцию Козины потеряли все. А когда в 1922 году умер отец, на плечи Вадима легла забота о пропитании матери и четырех сестер.

Молодой человек стал подрабатывать тапером в кинотеатрах. Тогда было принято развлекать публику выступлениями артистов перед сеансами кинофильмов. Однажды директор синематографа попросил Козина заменить заболевшего артиста и исполнить несколько песен. Вадим, очень волнуясь, решился выйти на сцену и сорвал гром оваций!

В начале 30-х годов по Ленинграду были расклеены афиши, в которых значилось: «Известный исполнитель цыганских песен Вадим Холодный». Это и был Вадим Козин. Он взял себе псевдоним в честь знаменитой звезды немого кино Веры Холодной.

Но через какое-то время у молодого певца появилась собственная аудитория. И стали ходить именно на Козина. После этого в 1936 году Вадим Алексеевич приехал в Москву и покорила сердца столичной публики.

В 1989 году был снят документальный фильм о творчестве певца. Эта лента стала единственным киноархивом, запечатлевшим Вадима Алексеевича для потомков. О своих приключениях давних лет Козин говорил с неподражаемым юмором. И таким же неподражаемым, воркующим голосом! А ведь было ему уже почти 90 лет!

«Работал я в Ленконцерте. И вместе с певцом Никифоровым (был у нас такой) получал 50 рублей в месяц. И вот как-то написал певец Никифоров письмо начальству, мол, прошу повысить мою ставку до 70 рублей, а то уволюсь! Он написал – ему повысили ставку и не уволили. Я написал следом то же самое – меня уволили! Так я приехал в Москву. В парке культуры и отдыха примерно через три дня меня вызвали в дирекцию и говорят, что хотят записать меня на пластинку. «Вы сможете?» Я ответил – «пожалуйста». Правда, у меня было тогда тяжело с деньгами. Питался я только хлебом и горячей водой из-под крана. А меня этот директор спросил: «Вам, может, нужны деньги?» Я ответил: «Нет, мне никаких денег не надо!». И на четвертый день записали меня на пластинку. Много песен. И я до сих пор удивляюсь – как голос звучал после такой диеты на хлебе и воде».

Слава Вадима Козина была не на концертных подмостках, а именно в грам-пластинках. Выпускали их два завода: Апрелевский и Ногинский.

Но есть одна интересная пластинка выпуска Бакинской (!) фабрики. Она на пластмассе, потрескавшаяся, покособившаяся, проиграть ее практически нельзя. Но она содержит очень хорошие и редкие записи под гитару: «Верная, манерная» и «Улыбнись, родная».

*Сердце полно весной,
Выйдем, пройдемся,
Вместе пойдём со мной.
Ну улыбнись, родная,
Ну не сердись, родная,
Ну помирись, родная,
Со мной.*

Вторая половина 30-х годов – расцвет карьеры молодого певца. Публика любит его за необычный тембр голоса и большой репертуар цыганских песен и романсов.

Во время войны Вадим Алексеевич, как и другие артисты, выступал перед бойцами на фронте. Но именно к военному времени относится еще одна загадка в биографии певца. Сам Вадим Алексеевич неоднократно и с удовольствием рассказывал эту историю, но о ее достоверности не может судить никто.

В 1943 году в Тегеране состоялась конференция с участием глав государств антигитлеровской коалиции. Присутствовали Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. У Черчилля был день рождения, и он попросил Сталина сделать ему подарок: послушать вживую любимого певца – Вадима Козина.

Сталин тут же дал приказ: Козина срочно посадили в самолет и привезли в Тегеран. И он участвовал в концерте, где, помимо него, выступили и другие знаменитые артисты того времени – Марлен Дитрих, Морис Шевалье и Иза Кремер. После концерта Козина тут же посадили в самолет и доставили в Москву.

Но вот что странно: впоследствии никто и нигде об этом фантастическом концерте не вспоминал: ни артисты, участвовавшие в нем, ни сам Черчилль. Более того, по определенным причинам артисты, о которых говорил Козин, не могли выступать в Тегеране. Дитрих жила в Америке, Иза Кремер – в Аргентине, а Морис Шевалье вообще находился на оккупированной территории Франции. Но сам Козин рассказывал об этом так ярко и подробно, что им заинтересовались в НКВД.

Возможно, за распространение недостоверных сведений, а может, и по каким-то иным причинам, в феврале 1944 года Козин был арестован. Существует немало сведений, объясняющих, почему любимец публики оказался на Лубянке. Причем версии одна пикантнее другой...

Как Козин вспоминал впоследствии, ему предлагали спеть что-то о Сталине, но он отказался в довольно дерзкой форме. Но были и другие причины, которые, так или иначе связывали с именем певца.

Зимой 1945 года Вадим Козин был осужден на восемь лет лагерей по трём статьям УК РСФСР: 58-10, часть вторая («контрреволюционная агитация в военное время»), 152 («развратные действия в отношении несовершеннолетних») и 154а (мужеложство) Но весь срок ему досиживать не пришлось. Он освободился досрочно в 1950 году. Срок Козин отбывал легко, к тяжёлым физическим работам не привлекался, работал в Магаданском музыкально-драматическом театре вместе с другими артистами. От тяжёлых работ его спасла Александра Гридасова, начальник Магаданского лагеря. Она мечтала создать собственный театр из заключённых музыкантов, певцов, артистов театра и кино. Характеризовали Гридасову неоднозначно, но Козин всегда вспоминал о ней тепло. Именно она спасла ему жизнь и голос.

Еще будучи осужденным, он гастролировал по всей Чукотке, Сахалину, по лагерям. Выступал перед начальством лагерей и перед заключёнными. Причем вел себя гордо и не подобострастно. Приносил огромные доходы филармонии.

Освободившись, певец поселился в маленькой квартирке в центре Магадана. В первое время он еще выезжал с концертами на большую землю, и хотя на столичной сцене ему выступать было запрещено, но в городах Сибири, Урала, Дальнего Востока его всегда ждал грандиозный успех.

Казалось бы – все беды позади. И начинается новая счастливая жизнь. Вновь обретенное признание. Но в 1959 году Козин получает новый срок по статье 121 УК РСФСР...

Отсидев два года, он уже больше не покинет Магадан и станет со временем достопримечательностью города. Он вновь гастролирует по городам Сибири и Урала. И каждое появление его на публике – неизменный восторг слушателей. Козин справедливо гордился тем, что никогда не использовал усилительную аппаратуру, полагаясь только на собственный голос. Микрофонов он попросту боялся.

В 70-е годы репертуар певца немного поменялся. Наряду со старыми и дорогими сердцу романсами и песнями появляются песни на слова Е.Евтушенко, Н.Гумилева, А.Ахматовой. Были и собственные, «козинские» песни. Он очень любил Магадан, его бульвары, и одна из песен так и называлась: «А я влюблен в бульвары Магадана», а другие «Магаданский ветерок» и «Письмо с Магадана».

*Что не сбылось – не сбудется,
Не сбудется – забудется.
Когда проходит молодость,
Еще сильнее любится.*

Он жил в однокомнатной хрущевке № 9. Все стены были заставлены книгами, а в ванне хранились закрутки – маринованные огурцы и помидоры двухлетней, а то и трехлетней давности. Козин боялся голода – делал запасы – сказывалось лагерное прошлое. Мыться же ходил к соседям. Годами носил старый стираный-перестираный и растянутый свитер. Единственным утешением его были книги, магнитофонные записи и кошки. Их у него было много. Он относился к ним, как к детям. Одну из них звали Плисецкая, в честь великой балерины.

Он продолжал писать песни, правда, к прославившему его цыганскому романсу обращался все меньше. Пластинки его больше не издавались, в газетах о нем не писали. Конечно, он тяжело переживал забвение, но виду не подавал, а любому искреннему вниманию к себе радовался, как ребенок.

Интерес к Вадиму Алексеевичу вспыхнул с новой силой в 80-е годы. Прошло почти 40 лет, его успели основательно забыть, и вдруг – новый виток популярности! Стали выпускать диски, пластинки, к певцу зачастили журналисты с просьбами об интервью, стали приглашать на концерты. Жизнь, начинавшаяся так блестяще, а потом обошедшая довольно жестоко, напоследок вновь милостиво улыбнулась певцу. Он успел увидеть ее улыбку. Вадим Козин скончался 19 декабря 1994 года в Магадане и был похоронен там же, на Марчеканском кладбище.

Можно многое говорить о Козине как о человеке, но пусть этим занимаются досужие сплетники. Мне хотелось вспомнить о Козине – исполнителе, обладателе чарующего мягкого тенора, любимом певце моей няни.

– А какая песня Козина твоя любимая? – спрашивала я у няни, уже будучи студенткой. – Дай угадаю! «Песня о дружбе»?

Няня поднимала набрякшие веки. Как она постарела, бедная! И поблекшие глаза уже не струили синий свет.

– Нет, – тихо отвечала она. – Романс «Нищая» на слова Беранже. Он верный. Словом «верный» няня называла правдивость.

Гораздо позже, когда уже не было ни няни, ни самого Вадима Алексеевича Козина, я узнала, что этот романс был самым любимым и у самого певца:

*Зима, метель, и в крупных хлопьях
При сильном ветре снег валит.
У входа в храм, одна, в отрепьях,
Старушка нищая стоит...*

*Сказать ли вам, старушка эта
Как двадцать лет тому жила!
Она была мечтой поэта,
И слава ей венки плела.*

Какими пышными хвалами
Кадил ей круг её гостей –
При счастье все дружатся с нами.
Подайте ж милостыню ей!

Так разве все мы не жаждем милостыни Судьбы в хохочущем водовороте жизни?.. И не радуемся ей как великой милости?..

При написании эссе были использованы статьи: «Не давали забыть, что он сидит в клетке». «Как НКВД сломал жизнь Вадима Козина»; <https://rg.ru/2014/01/16/reg-dfo/kozin.html>; <https://litrossia.ru/item/10906-korol-patefona/> и ряд других материалов о певце. Автор приносит искреннюю благодарность за возможность использования этих источников.

Вольный стих на отвлеченную тему

Что рассказать? В общем, все как обычно с утра и допоздна:
Работа, дом, плавающая мозги жара, сухая в саду трава,
Ее надо выпалывать каждый день, и руки привычны к этой работе,
Она всего лишь часть бытия, привычной жизни забота.

Сухие травинки царапают кожу, солнце слепит глаза, глаза...
Рядом дворовый котенок играет, собственный хвост тербя,
Все как обычно, только мысли мои далеко, да мозг выстукивает слова:
«Живая собака лучше мертвого льва, лучше мертвого льва...»

Мозг настойчив, эта фраза повторяется как заведенная,
Откуда она пришла на ум, каким раздумьем рожденная,
Не знаю... Но слова эти не дают мне покоя,
Будто вечность хохочет: «Ну, что, нашла своего героя?»

Вечность шепчет, шипит, издеваясь: «Что ты можешь мне возразить?
Стоит мне опустить ресницы, как жизни прервется нить.
И кому тогда будет нужно – кем была ты, шакалом иль львом
Если будешь в обличье уже, увы, никакком?»

Все, что имеет значение, есть только здесь и сейчас,
Прошлого жизнь не знает и не живет про запас».

Я все это знаю, Вечность, не надо мне повторять,
Что в общем и так понятно: жизнь создана, чтобы брать
Ее полной мерой и не грустить о былом.
И сомневаться в этом не надо, а то прослывешь дураком!

Прости меня, Вечность. Больше глупая мысль не наморщит лба,
Я привычно окончу работу, привычно уйду со двора,
Ни словом, ни жестом боле не потревожу тебя.
Разве только что мозг мой, все же, будут мучить слова:
«Живая собака лучше...
Лучше мертвого льва?..»

Жадность к жизни

*Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бег*

Р.Киплинг

Зимой 1921 года в газете «Одесские известия» появилось объявление о смерти некоего Арона Гольдштейна. В те первые послереволюционные годы, в голод и холод, царившие в Одессе, никто бы не обратил на это внимания, если бы внизу под фамилией Гольдштейн крохотными буквами не было бы напечатано в скобках: Сашка-музыкант из «Гамбринуса».

Так рассказывал об этом событии Константин Паустовский в своей «Повести о жизни». И сразу на ее страницах оживали герои этого изумительного произведения, да и облик самого Куприна становился ближе, понятнее и человечнее. Паустовский смог двумя-тремя фразами выразить восхищение Куприным:

«Прямо, в открытую Куприн говорит о любви к человеку не так уж часто. Но каждым своим рассказом он призывает к человечности.

Любовь Куприна к человеку проступает ясным подтекстом почти во всех его повестях и рассказах, несмотря на разнообразие их тем и сюжетов».

Но вернемся к «Гамбринусу» и его знаменитому музыканту. Значит, он действительно жил на свете, этот Сашка-музыкант, а не был только далеким прототипом для Александра Ивановича? Значит, все, о чем писал Куприн в этом рассказе, – подлинно? В это трудно было поверить, потому что жизнь и искусство в нашем сознании никогда еще не сливались так неразрывно. Оказалось, что Сашка-музыкант, давно ставший для своих читателей легендой, литературным героем, жил в Одессе и умер где-то на обледенелой мансарде старого одесского дома.

Хоронила Сашку-музыканта вся окраинная портовая Одесса. И эти похороны были своеобразным завершением купринского рассказа. Куприн в своем творчестве всегда искал силу, которая могла бы поднять человека до состояния внутреннего совершенства и открыть ему дорогу к счастью.

Александр Иванович Куприн родился 8 сентября 1870 года в городке Наровчате Пензенской губернии. Городок этот стоял, по словам Куприна, среди пыльной равнины и каждый год наполовину выгорал от пожара. Место было «унылое и беззвонное». Раннее детство писателя прошло в скучном Наровчате, в обстановке бедной и скудной. Но Куприн любил этот плоский унылый городок, как любят некрасивого болезненного ребенка – прикипая всем сердцем. Самой сильнейшей чертой Куприна как писателя и как человека была неимоверная острейшая жажда жизни. От матери, урожденной татарской княжны Кулунчаковой, будущий писатель унаследовал характерный разрез глаз, широкие скулы и необузданную гневливость. В гневе он был страшен, ярость его не знала границ, и горе было тому несчастному, кто попадался Куприну под горячую руку!

Сам о себе он сказал словами Платонова в повести «Яма»: *«Я бродяга и страстно люблю жизнь! Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак – махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном, грузил арбузы и кирпичи на Днепре, ездил с цирком, был актером, всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство».*

В этих словах человеческий и писательский облик самого Куприна. Для него характерна конкретность видения мира. А уж об особенном невероятно остром обонянии Куприна ходили легенды. Его называли самым чутким носом России. Он мог за несколько метров учуять и безошибочно определить любой запах.

Так, по его мнению: *«молодые девушки пахнут парным молоком и арбузом. Дамы преклонного возраста, живущие на юге России, имеют в запахе нотки терпкой полыни, полевых цветов и ладана».*

Куприн поистине поражает своими практическими познаниями в любой области жизни. Обо всем он пишет, как знаток, образно, живо, выпукло и ярко. Вся его жизнь в его повестях и рассказах. Полнее, чем сам Куприн, о ней никто и не скажет.

Отец умер рано. С тех пор у Александра началась сиротская жизнь с беспомощной матерью, жизнь без малейших радостей, но с большими обидами и унижениями. Мать Куприна устроилась во вдовый дом в Москве, и первое время мальчик жил там с нею, а потом его перевезли в сиротский пансион. В этих вдовых и сиротских домах унижение человека было доведено до степени искусства, унижали изощренно, и самое страшное, что оттуда не было другого выхода, кроме как в больницу или на кладбище. Куприн беспощадно описал жизнь этих заведений в рассказах «Беглецы», «Святая ложь», «На покое», описал жизнь людей, вышвырнутых за ненадобностью из жизни.

На всю жизнь Куприн сохранил ненависть к уменьшительно-ласкательным суффиксам, ибо они напоминали ему речь богаделок и приживалок, вымаливающих лишние куски еды.

После сиротского периода в жизни Куприна начался второй период – военный. Он тянулся 14 лет. Мальчика удалось устроить в кадетский корпус, из корпуса он был переведен в юнкерское училище в Москве, откуда был выпущен подпоручиком и направлен для несения строевой службы в 46-й пехотный Днепровский полк. Стоял полк в захолустных городках Подольской губернии. Очень лаконично и точно описал Куприн эти маленькие города в своих военных рассказах.

В 1894 году Куприн вышел в отставку и поселился в Киеве. Начал работать в киевских газетах и первые свои рассказы писал легко, играючи. Брал, как говорится, талантом, но прекрасно понимал, что без большого жизненного материала долго не продержишься. Надо было уходить в жизнь.

И Куприн, недолго раздумывая, бросился в жизнь, как в реку. Он изъездил всю Россию, меняя одну профессию за другой. Он изучил страну и знал ее особенности. Любил жить одной жизнью с простыми людьми, запоминать их язык. В этом широком погружении в гущу жизни вырабатывалась писательская зрелость, формировался собственный неповторимый стиль.

Большой след в жизни Куприна оставила поездка по заводам и шахтам Донецкого бассейна в 1896 году. Куприн желал изучить быт и работу горняков основательно и устроился на одном из заводов заведующим кузницы-столярной мастерской и проработал там несколько месяцев. Там был собран материал не только для ряда очерков, но и для повести «Молох».

Жизнь Куприна во второй половине 1890-х годов приобрела хаотичный характер. В 1896 году он организовал в Киеве атлетическое общество и с увлечением занимается спортом. В 1897-м он служит управляющим имением в Ровенском уезде. Затем его потянуло к зубопротезному делу. Он прилежно изучает его и работает некоторое время зубным врачом. В 1899 году вступает в бродячую театральную труппу и служит в ней несколько месяцев.

В этом же году судьба приводит его в Ялту. Здесь произошло одно из самых знаменательных событий его жизни – он встретился с Чеховым. Антон Павлович, в свою очередь, познакомил Куприна с некоторыми писателями, жившими в то время в Ялте, и в том числе с издателем петербургского журнала «Для всех» Миролюбовым. Тот, в свою очередь, пригласил Куприна в Петербург и предложил ему должность секретаря журнала. Куприн согласился и осенью 1901 года переехал в Петербург.

В ноябре 1901 года, вскоре после приезда, Куприн вместе с Иваном Буниным, с которым познакомился еще в Одессе, посетил издательницу журнала «Мир Божий»

Александр Давыдову. Приемная дочь Давыдовой Мария Карловна, слушательница Высших Бестужевских курсов, девушка умная и красивая, сразу же привлекла внимание Куприна. При встрече с ней он смутился, как мальчик, и сразу же спрятался за спину Бунина, что выглядело и смешно, и мило: широкий в кости, большой и высокий Куприн за сухощавым, не очень высоким и элегантным Буниным. Бунин не потерялся и громко произнес, балагурия:

– У вас товар, у нас – купец. Разрешите представить вам жениха. Талантливый беллетрист, недурен собой... Александр Иванович, – обратился он к другу, – повернись-ка к свету!.. Ну... Как вам, Мария Карловна?..

– Нам ничего, – смеясь, подхватила шутку находчивая Маша. – ...Мы-то что. Как маменька прикажут...

Муся, как называли в доме Давыдовых Марию Карловну, была очень смысленной, бойкой и острой на язык. Она знала себе цену и умела преподнести себя в нужном свете. Но, как оказалось, Муся умела оценивать не только себя. Она мгновенно разглядела в Куприне талант великого писателя.

«Муся была подкидыш, – вспоминала знакомая Давыдовых. – Ее младенцем принесли к дверям Давыдовых... Очень хорошенькая... Ее портил смех, недобрый, немолодой. Точно она говорила: «Какие вы все дураки, и до чего вы мне надоели...»

В феврале 1902 года Маша станет женой Куприна. Невеста, правда, признается знакомой: «Знаете, маме хочется, чтобы я вышла за Куприна...» «А вам-то самой хочется? – спросит та и добавит: – Не выходите зря. Не надо. Он в вас по-настоящему влюблен». Невеста ответит: «Знаете, что мама сказала? Выходи. У нас будет ребеночек. А потом, если Куприн надоест, можно его сплавить, а ребеночек останется».

Так и случится. Через одиннадцать месяцев после свадьбы у них рождается дочь Лида.

Приемная мать Муси, скончавшаяся через несколько недель после Мусиной свадьбы, завещала дочери третью часть в своем журнале. По настоянию жены, членом редколлегии журнала вскоре стал и Куприн.

Свое намерение сделать из Куприна корифея и классика Муся воплощала в жизнь нежно, но решительно. И писатель сам был полон творческих планов. В первое же проведенное с молодой женой в Крыму лето он написал три прекрасных рассказа. А вскоре была начата и новая крупная вещь, задуманная при горячем одобрении Муси, – повесть «Поединок».

Мария Карловна возлагала на это произведение большие надежды. Ей казалось, что Куприн недостаточно усерден, и работа движется слишком медленно. Маша царственным жестом указывала мужу на дверь: «Сначала «Поединок»! А до той поры я для тебя не жена!..»

Куприн писал несколько страниц, робко стучался в дверь, та приоткрывалась (была на цепочке), писатель протягивал в щелку исписанные листы бумаги, и дверь... захлопывалась. Писатель покорно ждал, пока благоверная прочтет написанное. Только прочитав и убедившись, что муж действительно принес ей новые страницы повести, Муся милостиво распахивала дверь.

И через пять лет все разом всплыло в его памяти: обиды, несправедливости, горькие обидные слова, вырывавшиеся из уст жены. Стереть из памяти, забыть в объятиях зеленого змия. Что делать, если досталась ему такая красивая и такая безжалостная супруга!

Главная героиня «Поединка» Шурочка словно списана с Муси: «...*Слушай же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие губы – как они должны целовать! – и глаза, окруженные желтоватой тенью... Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с*

таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка...»

Муся была его инспектором и цензором, но к чести ее надо признать, что цензором весьма прозорливым.

Как-то Куприн обиделся на колкое замечание жены и, порвав рукопись на части, бросил в помойку. Через три месяца он пожалел об этом и сказал жене, что в той рукописи «было кое-что недурно», и жаль, что он ее порвал. Маша усмехнулась и вытащила из комода склеенные ею страницы... «Машенька! Это же чудо! – кинулся он целовать ее. – Неужели ты сохранила?»

Впрочем, они стоили друг друга... В середине девяностых молва о знаменитых пьяных загулах Куприна грозила догнать его литературную славу.

Это ведь про него ходили стишки: «Если истина в вине, сколько истин в Куприне!» Это Куприн однажды пригласил в ресторан весь мужской хор Александро-Невской лавры, чтобы пели лично ему.

Или еще эпиграмма, посвященная Куприну: «Водочка откупорена, плещется в графине. Не позвать ли Куприна по этой причине».

В мае 1905 года в свет вышел «Поединок». Успех был неслыханным! Слава Куприна начала приобретать не только всероссийский, но и мировой уровень.

Но Куприн несколько даже тяготился обрушившейся славой. Он часто говорил, что писателем стал случайно, и собственная слава его удивляет.

У него был дар мгновенно сходитьсь с людьми, сходитьсь легко и даже как-то по-гусарски! Он мог поехать с дачи в Петербург, чтобы отвезти в редакцию новый рассказ и вернуться через три дня в сопровождении разношерстной пьяной компании. Мог по нескольку раз отбивать телеграмму государю, о том, что пьет за его здоровье. Кстати, и государь отвечал с юмором: «Закусывать надо!» Мог снять номер в лучшей столичной гостинице и поселить там цыганский табор. Неумная яростная кровь тарских князей Кулунчаковых kloкотала в нем.

Нелегко было мужу с такой женой, но и нелегко было Мусе с Куприным.

И вот накануне Рождества 1907 года по Петербургу поползли слухи, что Куприны разводятся. В канун пятилетия свадьбы Александр Иванович ушел из дому. Сняв номер в гостинице «Пале-Рояль», он пустился в очередной загул, запретив пускать к себе кого-либо. Исключение сделал лишь для Федора Батюшкова – близкого друга, профессора истории и литературы, владельца имения Даниловское, в котором несколько летних сезонов жили Куприны.

Именно Батюшкова и попросил Куприн отыскать некую Лизу Гейнрих, милую ясноглазую девушку, которая когда-то помогала незабвенной Александре Давыдовой накрывать праздничный стол по случаю свадьбы Куприна с Марией Карловной!

Поистине, чего только не случается на свете и любовь ведет нас тропинкою узкою, волк подчас по такой тропе идти боится....

Елизавета Гейнрих была знакомой супруги Батюшкова, иногда гостила в Даниловском, где бывали и Куприны. Отец Лизы, венгр по национальности, участвовал в венгерских революционных событиях 1848 года и, спасаясь от преследований, бежал в Россию. Его старшая дочь была женой писателя Мамин-Сибиряка. В семье сестры жила и Лиза. Именно Мамин-Сибиряк познакомил юную свояченицу с Александрой Давыдовой. Скромная воспитанная девушка прилась по нраву издательнице, и Лиза стала частой гостьей в ее доме.

Однажды Лизу пригласили в имение Батюшкова, где в то время гостили и Куприны. Их четырехлетней дочери Лидочке нужна была гувернантка и 25-летняя Лиза Гейнрих стала воспитательницей девочки. Но прошло совсем немного времени, и Куприн увлекся Лизой. Чувство оказалось взаимным, но мучительным. От решения Лизы зависела не только ее и его судьба, но и судьба его ребенка. И день, когда обманывать себя стало невозможно, все-таки наступил.

Покидая Даниловское, Лиза написала жене Куприна короткое письмо: «Срочные обстоятельства настоятельно требуют моего немедленного отъезда. Сожалею, что не могу быть более полезной вашему семейству».

И вот теперь, по прошествии года, на пороге госпиталя, где трудилась сестрой милосердия Лиза, возник Батюшков. Он просительно заглянул ей в глаза и произнес быстро, будто боясь, что ему не дадут договорить: *«Елизавета Морицевна, он погибает. Вы – единственный человек, который еще может его спасти. Никого, кроме вас, Александр Иванович не слушает. Мария Карловна отступилась. Он один, совершенно один».*

Батюшков говорил еще что-то, но Лиза уже не слышала. Только те, первые, самые страшные слова «Он погибает» пульсировали в висках.

Сняв косынку, она твердо сказала Батюшкову: «Я поеду с вами, Федор Дмитриевич».

Любовь Лизы Гейнрих сделала то, на что уже, казалось, не было надежды – вернула Александра Куприна к литературному творчеству.

В марте 1907 года он вместе с Лизой уехал в Гурзуф.

Лето снова прошло в Даниловском, где так трагически начиналась их история и где на этот раз Куприн писал одно из самых своих прекрасных произведений о любви – повесть-жемчужину «Суламифь».

Все права на написанные до развода произведения он оставил Марии Карловне и Лидушке. Жизнь с Лизой начиналась с чистого листа.

В Петербурге Александр Иванович жить более не желал.

После нескольких лет скитаний по югу России он поселился в Гатчине в небольшом, купленном в кредит домике, окруженном старыми деревьями. Кто только ни гостил у Куприных в этом доме: циркачи, ломовые извозчики, художники, авиаторы, актеры. И все гости души не чаяли в Елизавете Морицевне – всегда приветливой, гостеприимной, радушной и внимательной. Иногда она покупала к обеду по 16 фунтов мяса (это примерно 8 килограммов!), ведь надо было накормить всех гостей!

Ради мужа Елизавета Морицевна готова была выдержать все: разрыв с близкими, так и не примирившимися почему-то с ее браком, вечную суматоху и безденежье в доме, эмиграцию, смерть младшей дочери, трехлетней Зиночки. И даже расставание с любимой старшей дочерью – красавицей Ксенией, не пожелавшей в 37-м году вернуться с родителями на Родину. Единственное, чего Лиза так и не смогла вынести, – это жизни без мужа. В 1942 году, через четыре года после смерти мужа, она повесилась в оккупированной фашистами Гатчине.

Куприн не мог приспособиться к жизни вдали от Родины.

Не потому ли так щемяще нежна и горька написанная им в эмиграции изумительная повесть «Жанета», об одиночестве старого русского профессора, потерявшего под конец жизни все, кроме двух привязанностей – бродячего кота Пятницы и соседской девочки Жанеты.

В интервью, данном сотруднику одной из эмигрантских газет, Куприн сказал: *«Писал здесь в Париже Тургенев, он мог писать вне России, у него был здесь собственный дом и главное – душевный покой. Горький и Бунин на Капри писали прекрасные рассказы, но ведь было у них чувство, что где-то далеко есть свой дом, куда можно вернуться, припасть к родной земле. А ведь сейчас у нас чувства этого нет. Скрылись мы от дождя огненного, жизнь свою спасая. О чем же писать? Ненастоящая жизнь здесь. Писать о России по зрительной памяти я не могу. Когда-то я жил там. О чем писал? О балаклавских рабочих писал. Жил их жизнью, сроднился с ними. Меня жизнь тянула к себе, интересовала. Сейчас этого нет».*

Он с восторгом принял Февральскую революцию, но по отношению к Октябрьской взгляды его были неоднозначны. Он не верил в ее успех.

В состоянии полной растерянности Куприн эмигрировал в 1919 году во Францию. За границей он тяжело заболел. Болезнь усугубила тоска по Родине. Наконец, весной 1937 года Куприн вернулся в Москву. Встречали его торжественно, для пожилого писателя была приготовлена уютная тенистая дача, обставленная в русском народном стиле. Все было создано, чтобы Куприн, вдохновившись видами родной природы, начал бы творить с удвоенной силой. Но было, к сожалению, слишком поздно. Куприн умер 25 августа 1938-го, через год с небольшим после возвращения. Похоронили его на Литераторских мостках в Ленинграде, неподалеку от могилы Тургенева. Рядом с Куприным покоятся жена, Елизавета Морицевна, и дочь Ксения, умершая в 1981 году.

От первой дочери Лидии, прожившей 21 год, у Куприна был единственный внук, Алексей. Но, к сожалению, он не успел оставить потомства. Умер в 22 года от заболевания сердца, возникшего в результате контузии, полученной на фронте.

К настоящему времени прямых потомков у Куприна не осталось.

Казалось, он один из всей семьи сосредоточил в себе полноту и мощь жизни, ее неукротимый поток. Он, так яростно и так полнокровно живший, вобрал в себя все богатство бытия, не расплескивая его на близких.

Он любил изображать реку жизни в ее повседневном течении. И она всегда достоверна и ярка у Куприна. Не выдуманные герои, а реальные люди, представляли перед читателями во всем величии духа и живые до последней черточки. Куприн всегда старался отыскать в людях искорку святого и светлого, а не в этом ли главное предназначение литературы? Не принизить, а возвысить, возродить! О, для этого нужно очень сильно верить в человека. Куприн верил...

«Даже цветы на Родине пахнут по-иному», – написал он перед самой смертью. И в этих незамысловатых, но таких искренних строках выразилась его любовь к родной земле и трогательное прощание с ней.

«Мы должны быть благодарны Куприну за все – за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом».

Так проникновенно мог написать о Куприне только один человек. Писатель, обладавший даром невероятного деликатного и поэтичного видения жизни, человек, чье 130-летие со дня рождения отмечалось в майские дни 2022 года – Константин Георгиевич Паустовский. И мир наш действительно очень богат, ведь в нем жили и творили такие люди: Александр Иванович Куприн и Константин Георгиевич Паустовский.